

С. Г. Прокурин

ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА
ИНДООЕВРОПЕЙЦЕВ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ,
КОДЫ И ТЕКСТЫ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
СИБИРСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С. Г. Прокурин

**ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА
ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ,
КОДЫ И ТЕКСТЫ**

НОВОСИБИРСК
1998

ББК 81.2
Б П. 842

Монография издана
в рамках исследовательской программы
"Понятия "ВОЗМОЖНЫЙ МИР", "МЕНТАЛЬНЫЙ МИР"
как инструменты исследования исторической семантики,
истории ментальностей, логики языка"
сектора Общего языкознания (зав. сектором акад. Ю. С. Степанов)
Института языкознания РАН

Рецензент
кандидат филологических наук Ю. А. Тамбова

Проксурин С. Г.
Очерки исторического мира индоевропейцев:
концептуальные структуры, коды и тексты. — Новоси-
бирск: изд-е Сибирского независимого университета,
1998. — 136 с.

Настоящая монография является одним из первых обобщающих исследований видов концептуальных систем в индоевропейских языках и культуре. В ней рассматриваются реконструкции индоевропейских моделей мира, которые восстанавливаются по "ослабам", оставленным мировоззрениями в языках и культурах, данным этимологии, сравнительно-исторической реконструкции, культурным текстам и т.д. В работе анализируется теория "концептуализированных областей", т.е. областей смысла, в которых пересекаются данные языка и культуры. Книга будет полезна для историков мировой культуры, лингвистов, филологов, а также всех, интересующихся прошлым индоевропейских народов.

Proskurin S. G.
Essays of the historical world of Indo-Europeans: concep-
tual structures, codes and texts. — Novosibirsk: Siberian In-
dependent University, 1998. — 136 p.

The current monograph is one of the first general studies of the conceptualized systems in Indo-European languages and cultures. It considers reconstruction of Indo-European models of the world which are restored on the basis of traces left by the world outlooks in languages and cultures. The work develops the theory of conceptualized domains where language and cultural data merge. The book will be interesting to historians of the world culture, linguists, philologists and all who are exploring Indo-European Past.

ББК 81.2
© Проксурин С. Г., 1998
© Сибирский независимый
университет, 1998

Моему учителю Ю. С. Степанову

Глава I

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ИНДООЕРОПЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СТРУКТУР, КОДОВ И ТЕКСТОВ

1.1. Аналитическая картина мира

Аналитическая картина мира индоевропейцев возникает в реконструкциях как результат многочисленных частных исследований проблемы (Benveniste, Rolome, Тамкрелидзе, Иванов, Трубачев, Степанов, Калыгин и др.). Экспликация культурного концепта "мир" в реконструируемых культурологических картинах мира может проводиться (и обычно проводится) по периодам, связываемым с именами исследователей реконструируемого слоя. Сегодня более чем трех тысячелетний путь развития представлений индоевропейских народов о мире может быть показан в диахронии с этапами эволюции концепта "мир": период Тамкрелидзе, Иванова — наиболее глубокая реконструкция (Тамкрелидзе, Иванов 1984), период Полломе-Трубачева (Polome 1982, Трубачев 1987) и т.д.

Предлагаемые в ряде исследований реконструкции с выходом на индоевропейский материал (например, из отдельных исторических индоевропейских традиций: германской, балто-славянской, кельтской, италийской, древнеиндийской и др.) имеют всегда под собой уникальные условия бытования представлений и не могут быть поняты иначе, чем как результат развития представлений о мире в определенном пространственно-временном континууме (Тайлор, 1989; Степанов, Проксурин 1993а). Как же получить данные о самых ранних картинах мира индоевропейцев?

В одном из недавних наших исследований (Степанов, Проксурин 1993а) предполагается, что разнообразие данных о мире индоевропейцев свидетельствует о целесообразности первоначального установления мифологического, концептуального архетипа культурного концепта, а затем только реконструкции возможной лексической прайформы, которой не обязательно станет лексический архетип. Вероятно, у исследователя будет возможность на основе реконструкции мифологического архетипа предложить какую-нибудь мартинальную форму, которая будет подбираться по ассоциации с доминирующей концептуальной трактовкой понятия.

Уже на данном этапе размыканий имеются данные, которые позволяют постулировать множественность концептуальных решений в восприятии и соответственно в именованиях мира в индоевропейской культуре на этапе 4—5 тысяч до н.э. Ниже мы представим данные по реконструкции топологии и социальной функции индоевропейской модели мира. Констатация наличия кластера культур в древнем слое развития индоевропейских языков, а также нескольких интерпретационных моделей — одно из достижений современно-го сравнительно-исторического анализа.

Современная аналитическая картина Древнего индоевропейского мировоззрения возникает почти одновременно с углублением представлений о масштабах, времени возникновения и истории Вселенной, достигнутых в современной космологии. При существенном различии методов и способов получения информации о мире в исследовании Вселенной в современной астрономии, космологии и представляемых о мире в семiotике культуры в этих науках имеется одно очень важное общее, на которое пока не обращалось внимание.

Исследователи филолог, лингвист-компаративист, семиолог получают сведения о древнем мировоззрении почти всегда с запаздыванием в историческом времени. В такой же ситуации находится космолог или астроном, занимающийся и анализирующий состояние "современной" ему Вселенной. Скадов световых лет считается современным для исследователя (или просто наблюдателя). Состояние "после" (хотя уже давно минувшее) еще не стало нас исходить вне круга этих событий (которые во Вселенной уже наступили, но о них неизвестно). Временное запаздывание в исследовании древних цивилизаций, с которыми сталкиваются исследователи древних знаковых систем, также учитывается. Однако запаздывание в исторических реконструкциях, также ративных исследованиях определяется всегда относительно времени "до события" (например, относительно времени создания письменного источника). Иными словами, если в первом случае мы имеем дело с потенциальной будущей картиной мира (ее предполагаемым изображением) в фрагменте "после события", то в исторической реконструкции "картина мира" всегда существует в фрагменте "до события" (т.е. что-то из материала уже утрачено, т.е. возникает в семiotике культуры в результате воспроизведения истории (т.е. события) описан в более позднее время и длительное время передавался устной форме и только потом был оформлен. Кстати, в такой ситуации имеется и как бы свои плюсы, поскольку — это один из способов углубить наши знания о древнем состоянии проблемы.

Одновременно в исследованиях по сравнительно-исторической реконструкции возникает вопрос актуальный для любой мировоззренческой дисциплины — вопрос о течении времени или, точнее, о том или ином направлении времени. В современных индоевропейских культурах "время представляется бесконечности к нашим глазам. Будущее расположено впереди, оно "катит в глаза" (ср. рус. Зима катит в глаза "Зима приближается, скоро будет"). Чтобы обозреть (обозначить, пронумеровать) отрезок времени, как и любую другую длину, мы должны "обернуться назад", посмотреть в направлении, по которому указанная линия продолжается уже за нашей спиной, "позади". Та же — с тем, что "позади" нас" (Степанов 1989: 21).

Согласно реконструкции Ю. С. Степанова в индоевропейских языках и культурах реконструируется хронологически последовательная цепочка представлений о позиции человека во времени — "прошлое перед нами", "прошлое позади нас".

"[Р]еки архаической поры представляли себе, по-видимому, время текущим "сзади", из-за нашей спины, через нас и как бы над нашей головой, "вперед" — от наших глаз в бесконечность. Это представление хорошо (во всяком случае, лучше чем наше) соответствует убеждению, что "неизвестным" является как раз будущее, а "известным" прошлое. Следовательно, именно будущее должно располагаться за нашей спиной, там, где у нас нет глаз и куда не проникает наш взор. Напротив, прошлое — целиком перед нашими глазами, и оно постепенно удаляется от нас в направлении нашего взгляда, мало-помалу переставая быть видимым и теряясь вдаль" [...].

"Обратимся теперь к некоторым примерам. Одним из самых ярких, на верное, является различие греч. *πρόωτος* и лат. *proutus*. Этимологически и по словообразовательной модели эти два слова почти тождественны и означают "родившиеся впереди (по отношению к говорящему или другому упомянутому человеку — точке отсчета)". Смысл их, однако, противоположен: греческое слово означает "родившиеся прежде, предки", а латинское — "родившиеся позже, потомки". Это свидетельствует о том, что представление о направлении времени или о направлении взгляда во времени (что, в общем, одно и то же) в греческой и римской культурах архаического времени было различным (там же: 22).

Наиболее ранняя архаическая греческая система оказывается более соответствующей современным космологическим представлениям, т.е. она более точно описывает положение наблюдателя в системе. Наблюдатель Вселенной в современности ощущает себя обращенным в прошлое Вселенной, когда ее прошедшие события разворачиваются у него перед глазами. Будущее, которое уже наступило, находится у наблюдателя как бы за его спиной, там где есть зона недоступности восприятия. Таким образом, современная космология стоит на пороге повторного открытия греческого представления о направлении времени, замещенного в индоевропейских культурах.

От греческой традиции по современности представления о направлении времени варьировались: переходные состояния прослеживаются в старославянской традиции (об этом более подробно Степанов 1997: 126—131 и др.), у римлян, германцев и др.

Следовательно, вопрос о течении времени в семiotике культуры не снимается. Он переводится в ранг проблем филологического анализа материала.

1.2. Принципы *Umwelt* и языковая номинация

В индоевропейской культуре доминирует концепция знака, формирующая особые черты индоевропейских языков, которые делают их глубоко уникальными, непохожими на остальные языковые традиции. Эти черты в их взаимосвязи с культурой и предостоят нам рассмотреть в этом исследовании. В отставлении от ставшего традиционным (но по-прежнему дискуссионного) представления о различном мировосприятии в разных языках, проблеме получения признания в науке со времени Гумбольдта, в этом исследовании разделяется точка зрения о существовании специфических знаковых фрагментов, функционирующих на уровне отдельной языковой традиции и отвечающих за создание текста. Таким образом, в центре нашего внимания оказывается семiotический, знаковый аспект индоевропейской культуры.

В семиотике, описывающей процессы хранения и передачи информации, отстает точка зрения о наличии знаковых уровней типа *Umwelt*, характеризующих принципы семиозиса во всех языках мира (Т. Себек, Дж. Дили). *Umwelt* — субъективная среда, в которой находят отражение наиболее важные факты физического мира (Cunningham 1987: 195). Сам термин заимствован из биологии конца 19 — начала 20 столетия, а точнее, работ Якоба фон Иксколя. "Преимуществом этого понятия является то, что оно используется на равных при описании человека, животных и даже аллоорганизмов (наприм., растений, микробов). Фон Иксколь интересовался проблемой, каким образом можно описать, как животные отображают (*rishten*) мир в своем уме, и как они потом взаимодействуют с миром, который их окружает. Поскольку животные в состоянии отвечать только на малые части имеющейся в наличии общей сенсорной информации, они создают, как виды и как индивидуальные члены вида, *Umwelt*, субъективную среду, в которой уточняются наиболее важные аспекты физического мира. Понятие *Umwelt* значительно отличается от более знакомого понятия среды (*environment*).

Среда воспринимается как физически существующее единство, влияющее на организм и служащее источником стимуляции. Она воспринимается полностью обособленной от любых специфических организмов и в действительности обычно говорится о единстве, которое существует независимо от множества различных организмов. Это разделение методов и сред является фундаментальным обоснованием большинства методов и теорий в психологии. *Umwelt* организма, напротив, не является независимым от организма, и в действительности существует только в отношении к организму. В знаменитом примере фон Иксколь (1982) описал разнообразные *Umwelten*, созданные деревом: грубая гумусная почва для жука, набор веток и частей дерева для гнездящейся птицы и т.д. Во всех этих случаях среда одна и та же: кора, ствол, ветви доступны каждому организму, хотя при этом их опыт различен. Посредством процесса создания *Umwelten*, организмы приходят в соприкосновение с физической средой, проживая в мире уникально определенном для этих видов. *Umwelt* не является статичным (т.е. находящимся в равновесии), но он пребывает в постоянном положении ... как на уровне вида, так и на индивидуальном уровне... В семиотической модели Дж. Дили механизм, который делает возможным размежевание организма и среды, — это язык, система знаков специфических для человека. По его мнению, в результате обладания языком человечество обнаруживает способность к пониманию и творению совершенно иного мира. В долингвистическом опыте чувства и творчества или другие отношения во многом связаны с объективным миром. Но с языком появляется возможность разделить эти два плана. Вследствие этого люди способны произвольно манипулировать знаками, создавать знаки, а также знаковые структуры: военные учреждения, гражданские правительства, религиозные традиции, школы, профессиональные ассоциации и другие социальные или культурные паттерны или институты. По Дж. Дили, они называются постлингвистическими структурами. Постлингвистические структуры созданные на основе постлингвистического опыта, посредством языка, становятся частью нашего *Umwelt*. Так называемое первичное, или доступное восприятие, трансформируется посредством языка и социального взаимодействия и существует в результате как общество "окультуренное"

(*enculturated*) или как потенциальная культурная система. Мы сейчас воспринимает мир в терминах этих структур и вряд ли можем представить мир без них" (Cunningham 1987: 209—211).

В психологии отношение человека и среды связывается с операциональной теорией интеллекта. "Согласно этой точке зрения, интеллектуальные операции, высшей формой которых является логика и математика, выступают как реальные действия в двойном смысле: как результат действий субъекта са-мого по себе и как результат возможного опыта, возникающего из взаимодействия с окружающей действительностью. И тогда основная проблема сводится к тому, чтобы понять, каким образом, начиная с материальных действий, происходит выработка этих операций и посредством каких законов равновесия регулируется их эволюция. Операции, таким образом, выступают обязательно сгруппированными в целостные системы, которые можно сравнить с "формами" гештальт-психологии, но, в отличие от последних, эти системы отнюдь не являются неподвижными и данными изначально. Напротив, они мобильны, обратимы и определяются как таковые только в конце процесса своего созидания. Этот одновременно индивидуальный и социальный генетический процесс и определяет характер таких операциональных систем". Далее Ж. Пиаже, автор цитаты, подводит некоторый итог рассуждению: "...можно ли надеяться на то, чтобы найти объяснение природы интеллекта в собственном смысле этого слова, или он — явление первичного порядка, не сводимое ни к чему иному, некое зеркало действительности, предшествующее всякому опыту и само являющееся логикой? (Пиаже 1994: 70—71). Возможно ли, таким образом, опереться на какие-либо "способы измерения" культуры (термин Э. Б. Тайлора) в форме гештальтов или же *Umwelt* человека в культурной среде является нечто вторичным, производным от его восприятия, интеллекта и сознания?

Ответ на этот сложный вопрос мы попытаемся дать в нашем исследовании. "Возможность психологического объяснения интеллекта зависит от того, как мы будем интерпретировать логические операции: будем ли мы понимать их как отражение уже готовой реальности или как выражение подлинной деятельности. Избежать этой альтернативы позволяет, несомненно, лишь аксиоматика: реальным операциям мышления можно дать генетическую интерпретацию (полностью сохраняя при этом несводимый характер их формальных связей) только в том случае, если они анализируются аксиоматически. Логик выступает как геометр, дедуктивно конструирующий пространство, а психолога можно уподобить физiku, измеряющему пространство самого реального мира. Иными словами, психолог изучает, каким образом устанавливается фактическое равновесие действий и операций, тогда как логик анализирует само равновесие в его идеальной форме, т.е. каким оно должно нормативно быть в сознании при условии его полной реализации" (Пиаже 1994: 71—72). Исследователь семиотики культуры (культуры) изучает культурное пространство с точки зрения того, как культура как наследственная форма памяти аккумулируется, хранится и передается в знаковых системах, из которых приоритетным является языковое пространство. Разумеется, совмещение аппаратных исследований с лингвистическим, филологическим и философским аппаратом является теоретической необходимостью.

1.3. Предмет. К истории вопроса концептуализаций в языке и культуре

Оставаясь в рамках нашего семиотического исследования, определим более четко его предмет. Предметом работы является часть мировой культуры, а именно: индоевропейские языки и культуры. Исследовательское пространство и е. языков и культур обширно в историческом и синхронном планах. Вместе с тем целесообразно определить те аспекты индоевропейского культурного пространства, которые будут представлять для нас главный интерес. Будучи в этой работе в следующем срезе: в индоевропейском пространстве культуры "эволюционные ряды культурных явлений допускают — методологически — расчленение на 1) чисто концептуальные ряды, такие как "Вера", скажем, как прыжки, ножи, оружие и т.п. 2) смешанные концептуально-материальные ряды, такие например, как ряд представлений о "Мире", "Мир", с одной стороны, выступает как "чистый" концепт, а с другой, как концепт, в телах — мировом древе, столпе, яме; афавитной записи и т.п. Именно культурные явления последнего типа, т.е. смешанные концептуально-материальные ряды, называются "концептуализированной областью" (Проскурин 1990а,б, Степанов, Проскурин 1993а: 14, Степанов 1997).

К такой исследовательской классификации мы подошли, обобщив более чем столетний опыт работ в лингвистике и семиотике, а также культурологии (лексические поля Й. Трира, направление слов и вещей, культурных слов и развитии культуры, обобщенное в фундаментальном исследовании о лора "Первобытная культура" (1871). "Так, если область исследования вместо той частью ее, которую мы называем британский ученый, "будет ограничена не племен или народов, а условий знания, религии, искусства, обычаев и термин от тех же затруднений, которым обещает быть более легкой. Мы и здесь изысканий, но в настоящем случае эти трудности значительно уменьшены. Доказательства здесь уже не так безнадежно разнообразны; они уже могут быть классифицированы и сравниваемы обычным образом; они уже могут та ряд отношений к нему фактов делает непосредственное суждение о целом более ценным, нежели во всеобщей истории. Из краткого предварительного рассмотрения нашей задачи может выясниться, каким образом явления культуры могут быть классифицированы и распределены, статьи за статьями, в определенном порядке их развития." (Тайлор, 1889: 21) (разрядка наша С. П.)

Утвердившись в лингвистике, а также семиологии принцип изучения языка "в самом себе и для себя" вызвал в известной степени отход от изучения связей языка и культуры и перенос внимания, главным образом, на вопросы его структуры языка. "Такое ограничение исследований языка только изучения языка как продукта человеческой культуры в тесной связи с этой культурой и на широком фоне истории носителей языка" (Гамкрелидзе, Ива-

нов 1984: 459). Во многих исследованиях отмечается необходимость разработки понятийного аппарата, в рамках которого можно было бы эффективно и точно анализировать взаимодействия языка и культуры (Levi-Strauss, Той-стой, Иванов и др.)

Особую актуальность приобретают работы, выполненные в русле этносемантики и семиотики культуры и ориентированные на рассмотрение взаимосвязи языка с духовной культурой, прежде всего, с его представлениями о фундаментальных категориях. Особый акцент в семиотике культуры на этносемантическом анализе "предполагает по необходимости выход из замкнутой системы языка... в мир внеязыковых понятий с установлением определенных отношений между единицами этого плана и семантической структурной язы-ка" (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 458). Такой подход, характерный для современных исследований (Венгелште 1969, Топорова 1986, Проскурин 1990, Степанов, Проскурин 1993а) представляется преемственным в смысле его традиционной оформленности в рамках исторического языкознания. Разумеется, само направление анализа неоднородного материала затрагивает смежные интересы ряда наук: языкознания, семиологии, теории культуры, семиотики культуры.

Постановка данной проблемы в лингвистике и теории культуры обычно связывается с ранними стадиями оформления и развития сравнительно-исторического языкознания. Первый этап отмечен прежде всего работами Якоба Гримма, чей труд "Geschichte der deutschen Sprache" (1853) содержит главы, которые можно с полным правом рассматривать как первый опыт синтеза идей сравнительно-исторического языкознания и сасиологических различий в области словаря культуры (см. Grimm 1853: 680—691). Эта тенденция привнесла во второй половине XIX в. к постепенному расхождению и специализации, с одной стороны, вызвавшим появление работ в русле "лингвистической палеонтологии" (сравнительно-историческое языкознание), а с другой — размыканий в рамках отдельно взятого языка и культуры, представляемых двумя направлениями — школой "слов и вещей" и "ключевых терминов культуры".

Второй этап характеризуется, главным образом, исследованиями ученых этих школ. Школа "слов и вещей" возникла в Германии в начале нашего века и в различных видоизменениях существует до наших дней. В науке с этим течением пробуждается интерес к конкретной лексике — наименованиям объектов материальной культуры: предметов труда, оружия, кораблей, млекопитающих, насекомых, рыб, исследование которых было немаловажно без сопоставления с внеязыковым "миром вещей" — данными истории, археологии и с информаций, касающейся соответствующих областей знаний. Как отмечает К. Фейс, "эти работы порой напоминают маленькие словари" с исчерпывающей информацией по теме и "в большинстве случаев представляли собой сокровищницу для этимологов" (Feiss 1967: 4, ср. Klump 1908, Keller 1906, Jordan 1903, Corleuou 1906, Kohler 1906). Школа "ключевых слов" — широкое течение в современных европейских лингвокультурных исследованиях, начавшееся с изучения "понятийных полей" Й. Трира на древнегерманском материале в 30-е годы (Trier 1931). Так как предметом исследования являлись абстрактные слова — ключевые термины культуры, то определение их значения сводилось, по существу, к операциям над существующими понятиями (Степанов 1977: 319—320). Ввиду того, что понимание абстрактных слов, как

правило, не связано с "объектным пониманием" значения, исследование абстрактной лексики выдвинуло на первый план их контекстуальный анализ (Lizi 1939, Leisi 1959, Kihlwein 1967, Schabram 1970).

Провозвестником третьего этапа лингвокультурных исследований является также И. Трип, предпринявший попытку отказаться от одностороннего движения Язык > Культура, установив более тесные аналогии между ними. В соответствии с выдвинутым им так называемым "эргологическим принципом" при исследовании необходимо учитывать род человеческого деятельности, к которому относится понятие. В связи с таким подходом производится поиск ситуации коллективного труда в древнем обществе (ср. Mapping — "крут людей"), на основании которой истолковывается становление значений целого то комплекса слов, реальная связь которых, тем не менее, признается далеко не всеми исследователями.

Основным отличием третьего этапа лингвокультурных исследований, называемого где-то в конце 50-х — начале 60-х годов XX века, явилось расширение диапазона исследовательских задач, ввиду оформления целого направления семиотики культуры. В исследованиях языка и культуры доминирующими становятся понятия "модель", "картина" мира. Изначально проблема модели мира рассматривается в рамках семиотики при изучении моделирующих систем (язык) и вторичных моделирующих систем (миф, фольклор).

Исходя из принятого понимания культуры как "наследственной памяти коллектива", ее главной задачей признается структурная организация окружающего мира, что находит выражение в его модели (Йотман, Успенский 1971).

Первое направление, по которому устремились ученые, было "лингвистическим" по своей сути. Языковая модель берется в нем в качестве фундамента, предназначенного для установления на его основе структур иногда более сложных, но аналогичных по типу и соответствующих культуре, рассматриваемой в ее различных аспектах. Заметим, что впервые "лингвистический" принцип анализа культурных явлений был применен Я. Гриммом и лежит в основе композиции известной работы "Deutsche Mythologie" (1844). Автор проводит параллель между соответствиями фонологических систем языков одной семьи и различными божествами родственных мифологий, выполняя при этом одну и ту же функцию (Grimm 1844: XIX). В XX веке такой подход широко был возрожден в рамках этнологических исследований К. Леви-Строуса, который, однако, сделал акцент не на соответствиях, а на противопоставлениях фоном в одной фонологической системе. Он, в частности, предложил опираться на аналогии фонологических оппозиций с структурами модели мира, которая в таком случае трактуется как набор основных семантических противопоставлений (Леви-Строус 1985: 64—75). В результате модель мира определяется в статическом плане как "сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах (Мифы народов мира 1982: 161). В отечественной науке эти противопоставления, названные бинарными оппозициями, были исследованы А. М. Золотаревым, затем, особенно в славистической части, подробнее разработаны Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым, выдвинувшими для древнеславянской (общеславянской) культурной традиции ряд оппозиций, образующих, по мнению авторов, определенную "систему и взаимосвязь основных признаков: "левый-правый, женский-мужской, младший-

старший, нижний-верхний, западный-восточный, северный-южный, черный-красный (белый), смерть-жизнь, болезнь-здоровье, тьма-свет, луна-солнце, земля-небо, лес-дом, вода-огонь, нечет-чет, море-суша, зима-весна (Иванов, Топоров 1974). Однако наблюдения над функционированием оппозиций в отдельно взятой конкретной традиции и даже одном синхронном срезе, проведенные в последнее время (Толстой 1987), выявили узость бинарного подхода, особенно при анализе отражения в языке динамических процессов смены мировоззрений — ситуации "двоеверия" (Прокурин 1990б, Степанов, Прокурин 1993а).

Во многих исследованиях проблемы большинство исследователей высказывают мысль о проблемности сведения модели мира к регулируемым вариантам (Арутюнова 1975, Караулов 1976, Постовалова 1988). Одновременно подчеркивается идея об относительной независимости языковой и культурной модели мира. Вместо прямой корреляции между ними предлагается устанавливать опосредствующий уровень.

К середине девяностых годов двадцатого столетия в традиции исследования культурологических и сравнительно-исторических проблем языка наметилось единство в позициях ученых, высказывавших мнение относительно истинности исторических и предметно-логических связей в языках и культурах индоевропейского ареала. "Язык — универсальная принадлежность человека и века, семиологическая система, возникшая путем естественного семизиса и служащая средством социализации человека, общения людей и познания: как семиологическая система Язык есть совокупность категорий и правил: язык конкретный — то же, что отвлеченный язык, национальный язык: в этом смысле язык пишется со строчной буквы" (Степанов, 1981:358). Язык (в принятой терминологии) план его содержания сам образует "с е м и о т и ч е с к у ю систему, членящую некоторый план выражения — язык и его лексiku, узальные подязыки и их словарный состав, речевые произведения и встречающиеся в них единицы — и отображающую это членение на определенный план, содержания — действительный мир, социально-культурное видение мира, концептуальные единицы, соотносимые с экстенциональными классами объектов" (Рей, Даллесаль, 1983: 264). Незаметно Язык как бы улавливается в интенциональной сфере, порождая лексико-грамматические классы фактов, находящихся вне предмета мировидения. Нет необходимости говорить, что речь не идет о каком-то численном измерении "грамматик", слово "измерение" здесь синоним слов "ось", "координата", "параметр" (Степанов, 1985: 3—4) во всяком случае, преобладает тенденция представлять некоторый класс фактов как осязаемый в Языке.

"В современной семантике (как в грамматической, так и еще более определенно в лексической) давно уже осознана необходимость объединять семантические категории в некоторые "поля", "группы", "функции" и т. д., — в особенности для исторического изучения. Сходный взгляд формулируется в области изучения культуры, сравнительной мифологии, концептуального анализа и т.д." (Степанов, Прокурин 1993а: 14).

Так определенные культурные универсалии, составляющие каркас культуры, присутствуют в языке, обладают в нем некоторыми зонами семантичности кого плана. Они хорошо распознаваемы и теоретически различимы, но не всегда как лингвистические классы, а чаще как своеобразные константы языка и культуры одновременно (Степанов, Прокурин, 1993а: 5—7). Иногда по-

добные зоны семiotического "напряжения" выступают как координаты культуры и обобщают ее типические черты (например, бинарные оппозиции в языках и культурах). Их теоретические контуры нам предстоит очертить.

В то же самое время в семiotике контуры культуры имеют свои положения и нормы анализа в осмыслении корпуса культуры и составляющих ее культурных концептов. Здесь также имеются свои особенности и специфика рассмотрения материала.

1.4. Концептуальные структуры в индоевропейских языках и культуре

Культурный концепт — одна из структурных констант индоевропейской культуры, обладает "ценностью" в самой культуре и может быть предметом анализа исключительно в историческом времени. Допустим положение от обобщенного: культурные концепты, такие как "мир", "закон", "семья", "жизнь" и др. существуют исключительно в потенциале системы. Такое положение не свойственно индоевропейским культурам, поскольку все культурные концепты осмысляются как ее "ценности" через традицию, т. е. как что-то "существующее", уже имевшееся в наличии и т. д. В рамках семiotики культуры рассматриваются концепты, удаленные от понятия "общего имени" логики. Рассматриваются не понятия "мир, город вообще" (абстрактный мир, город), а всегда конкретные исторические данности. В семiotике культуры имеют значение понятия, связанные со временем и историей, скажем, "древний мир", "города Италии 18 века" и т. д. С чем это связано?

Прежде всего с открытием индоевропейскими культурами линейного исторического времени, с отнесением концепта к определенному историческому времени. Приведем развернутый пример из одной индоевропейской культуры — англосаксонской. Культурный концепт имеет свой синтаксис, подтвержденный в истории изменениям.

В ранних древнеанглийских текстах "преобладают сочетания" слова *weorold* "мир" с глаголами циклического движения (по кругу), среди которых выделяется архаическая формула *weorold wearded* — "мир вращается", скрепленная аллитерацией: *aerðon edweden worlde geweorde* (Ph., 40) — "прежде чем произойдет новое вращение мира".

В относительно более поздних контекстах, не получивших формульного воплощения, *weorold* употребляется с глаголами направленного движения: *gewitan* — "уходить", *faran* — "двигаться" (обычно по прямой) и т. д.

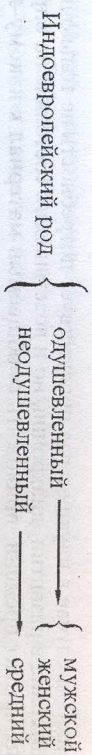
Swa fæos worlde eall gewited and eac swa some fe hite on wurde aurdæde, tionleþ shied (El., 76—78) — "Так этот мир весь уйдет и так же, как некоторых, которые здесь были сотворены, пламя возьмет".

В свою очередь, речевая инновация в рамках контекстуального микромира "движущийся мир", объединяющего оба примера, — дистрибуция лексемы *weorold* с глаголами циклического и направленного движения — свидетельствует о культурно-историческом сдвиге в общественном сознании англосаксов. Утвердившееся пол воздействием христианства представление о мире во времени, развивающемся по прямой к своему концу — второму пришествию Христа (открытие линейного времени) привело к смене языческим представлениям о вращении мира, о круговороте хронолога (пространственно-временного единства) (Проскурин 1990а: 19).

В любом случае в науке всегда присутствует потребность не только показывать материал в развитии, диахронии, но и восстанавливать состояние на определенный момент времени, приложить обобщаемый материал к какому-либо периоду.

Рассмотрим эту проблему глубже. Например, в индоевропейских языках форма номинатива и аккумулятива единственного и множественного числа среднего рода всегда совпадает. Этот признак является маркированным в большинстве языков индоевропейской семьи, что, по мнению ряда ученых, свидетельствует об активном прошлом индоевропейской языковой семьи, о инмострое правых(ов) (Уленбек, Степанов и др.). Казалось бы, этот факт индоевропейской реконструкции очевиден и не требует особого дополнительного внимания. Однако исследования исторических языков иногда дают новый материал, расширяющий наши представления о феномене, переворачивают традиционный взгляд на проблему.

Как одну из разновидностей концептуализаций в тексте можно представить материал древнегерманских языков, в частности, готский, где категория одушевленности/неодушевленности, свойственная праиндоевропейскому, все еще сохраняется как реликтовое явление в парадигме склонения готских существительных (Осипова, 1980). В этом случае взаимосвязь языка и культуры оказывается решающей для поиска концептуальных воплощений исчезнувших парадигм. Компактный материал готского языка позволяет реконструировать грамматические отношения, которые были типичными для праиндоевропейской грамматики. В древнейшем индоевропейском (общейиндоевропейском) языке прослеживаются две родовые системы: 1) различение "одушевленного-неодушевленного" рода и 2) различение "мужского-женского-среднего" рода. Эти системы не являются синхронными и принадлежат по происхождению разным историческим эпохам. Древнейшей из них является система "одушевленный — неодушевленный род", за которой при глубокой исторической реконструкции вырисовывается еще более древнее противопоставление "активного" и "неактивного" начал. Например, слова с основой ред — означают "нога" и принадлежат к активному классу, слова с основой редо — "след ноги" и принадлежат к неактивному классу. На существование этой многоосновной системы указывают различные факты исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Так, в латыни *patet-patet* "отец" — "мать" или *lupus-fagus* "волк-буквое дерево" не содержат никаких показателей родовых различий "мужского" и "женского" в строении своих слововоротов, потому что до этого все они принадлежали к одному и тому же "одушевленному" роду. В латыни они различаются только посредством женского вания с ними прилагательных: со словами *patet*, *lupus* согласуются прилагательные мужского рода, а со словами *mater*, *fagus* — прилагательные женского рода, т. е. формальное различие достигается явно позднейшими средствами. Среди слов, принадлежащих старому пласту "одушевленных", нет и таких смысловых различий, которые соответствовали бы позднейшему разделение на "мужской род" и "женский род", кроме тех в общей сложности немногочисленных случаев, когда эти слова обозначают самку или самца. Так, форма слов *lupus* и *fagus* и их значение — для не знающих всей латинской системы — не позволяет заключить, какое из них будет словом мужского, а какое — словом женского рода. Сказанное может быть резюмировано следующей схемой:



Иными словами, в то время как одушевленный род преобразовывался в позднейшей системе в двузначный мужской и женский род, старый неодушевленный род получил новое значение (относительно двух других — мужского и женского родов) — значение среднего рода. Зная общую организацию категории рода в индоевропейском, можно объяснить многие явления в древних индоевропейских языках — старославянском, древнерусском, латыни и новых языках, например в русском. Так, названия мелких животных, половые различия которых несущественны в хозяйственной жизни человека, принадлежат в основном к женскому роду — в силу общей тенденции женского рода обозначать не общее, а равновидность общего. Названия небесных светил, огня, дня и ночи — пережитки старого одушевленного рода, поэтому в исторических древних индоевропейских языках они всегда либо мужского, либо женского рода. Вариации мужского и женского родов в этих случаях оказываются уже вторичными частностями, обусловленными конкретной системой или даже тем или иным фрагментом каждого отдельного языка. Так, в латыни слово *dies* "день" было первоначально словом мужского рода, но затем перешло в женский род под влиянием других слов на *-ies*, а также под влиянием семантики соотносительного слова *nox* "ночь" жен. р. *Oчевидно*, что с точки зрения унаследованной именной классификации это уже частность, решающее же значение имеет принадлежность этого слова к "несреднему" роду. Имена действия (и это происходит весьма последовательно), например, в древнерусском языке всегда мужского или женского рода, в то время как имена результатов действия всегда среднего рода; ср. греч. жен. р. *κλῆροῦς* ("наполнение, заполнение") и средн. р. *τῆλεφος* ("наполнение, полнота") и т.д. и т.п. Можно предполагать, что и различие свободных и несвободных мужчин в древнерусском посредством разного грамматического оформления их названий не было абсолютным началом категории одушевленности, а продолжало глубокие традиции индоевропейского мышления" (Степанов 1975: 128).

Категория одушевленности и ее предположение в парадигме склонения древнегерманских существительных заинтересовала нас в силу того, что сплосшь и рядом в системе древнегерманского склонения наблюдаются реликтовые явления, свидетельствующие о более древней, четко выраженной в языке оппозиции одушевленный (активный) — неодушевленный (инактивный) (предшествующей системе склонения по мужскому, женскому и среднему родам). Так, этот процесс можно видеть в склонении существительных мужского рода с основой на *-an*: "Модель существительных с суффиксом *-an* отряда жаля индоевропейскую модель типа *agentis*, но именно в германских языках она получила широкое распространение". Основное содержание модели существительных с основообразующим суффиксом *-an* составляет "одушевленные существительные женского рода". "Модели существительных с суффиксом *-an* были представлены во всех германских языках очень широко. Это были модели действующего лица мужского рода". Часть существительных женского рода *-jan* — основ также была представлена мутированными одушевленными существительными женского рода. Что касается склонения существительных основ на *-i* и *-u*, то известно, что в "протоиндоевропей-

ском (или раннеиндоевропейском) возможна была оппозиция *-i* — основ среднего рода и *-u* — основ одушевленного рода; то же самое и для *-u* — основ, что частично сохранилось и в древнегерманских языках. И наконец, всеми признается, что к группе существительных *г-основ* (и *-e* суффиксы *-i*, *-e*, *-et*, *-i* — *tot*)... в н.е. языках относились имена родства и имена действующего лица. В германском к *г-основам* относятся лишь имена родства мужского и женского рода, имевшие в раннегерманском единую парадигму" (Осипова 1980: 5—6).

Резюмируем наблюдение О. А. Осиповой для пратерманского в виде следующей типологической реконструкции: слова с основами на согласный принадлежали в прошлом преимущественно к одушевленному роду или активу, слова с основами на гласный встраиваются в более раннюю систему склонения неодушевленного рода или пассива. Такое членение прослеживается в парадигмах слов в исторических языках, в частности, готском. Приведем конкретный пример, взятый из монографии О. А. Осиповой. "Итак, при исключении более поздних образований группы конкретных существительных *-an* — основ может быть признана однородной, передающей значение одушевленности. Несколько существительных выходят за рамки обобщающего значения одушевленности *-azō* "пейте", "зола", *drīso* "круча, склон", *wīko* "неделя", *brīno* "лихорадка". Однако их можно отнести к активным именам, которые характеризовались когда-то все движущаясь, живое, а следовательно, одушевленное, по нескольким причинам. Два из них *brīno* и *drīso* образованы от глагольной основы настоящего времени. Параллельно с ними употреблены и сами глаголы от этого же корня с активным значением: *brīpan* "гореть" и *drīsan* "падать". В тексте *brīno* употреблено с глаголом активного действия *afetan* "покидать, оставлять", свойственного обычному живым существам. Ср., например: *jah drīdagands utsiða tho undgairands handu izoz, jah afaiot tho so brīno suns, jah andabitha im* (Mc. 1, 31) "И, подходя, поднялся бери ее за руку и покинул ее лихорадка тотчас, и служила (она) им". Интересно отметить, что готское *drīso* в тексте также связано с глаголами активного действия, например: *jah gath du im: gaggiti! Ith eis ussaggandans gathim in haita swaine; jah sei, tūp gawarhtedun sis alla so haita and drīson in maten jah galeihandans gathim in baure all bi thana daimonjans* (M. 8, 32). Обычно в Библии подчеркивая часть переводится: "И вот, все стадо свиное бросилось с крутизны в море". На самом же деле слово *drīso* связано с активным глаголом *gawarhtjan* "выхлопотать, достигать" (в сочетании с *tuip* "низвергать") так же, как и слово *haita* "стадо", поэтому *-to* глагол здесь имеет окончание множественного числа.

В других древнегерманских языках готскому *drīso* соответствуют слова, передающие значение процесса течения: ср. др.-англ. *dreog* "кровь", др.-сакс. *drōt* "кровь", др.-сакс. *drōt* "кровь", д.-верх.нем. *trōt* "кровь", др.-исп. *dreun*, *drōt* "кровь" (Vosworth-Toller, p. 212), т.е. слова по семантике ближе к "поток", стремление, чем к "склон". Поэтому имеют все основания в данном предложении приписать *drīso* значение стремления, под которым подразумевается конкретное содержание — движущаяся масса свиной, которая падает, как поток, как стремнина. Видимо, это предложение можно перевести дословно так: "И сказал им: идите! И они, выходя, пошли в стадо свиное; и вот низверглись (в беге своем) все это стадо и стремнина в море и, прибывая, провозгласили в городе все о бесноватых". Точно так же и в Еван-

геше от Луки и от Марка *druso* связано с активными глаголами *tipnan* "бегать" и *alfvaran* "вымирать, прекращаться", свойственными обычно живым существам (вторая часть предложения 33): *jah tapp sa withus and drison in thana matsaw jah alfvarodedin* (L. 8,33). Следовательно, здесь возможен такой перевод: "И побежало стадо (то, следующее) и стремнина в озеро, и прекратился (утонул) все эти: и стадо и стремнина). Ср. также *jah tapp so hantda and drison in maten*; *wesunth* — *than swe twos thusunthos, jah alfvarodedin in maten* (Mc. 5,13) И побежало стадо и стремнина в море; и было их около двух тысяч, и поглотил в море". Возможно, что слово *druso* во всех приведенных примерах употреблено как синоним слова *hantda* "стадо", но с определенным уточнением — бегущее, стремительное стадо, что также подтверждается параллельным существованием родственных слов с активным значением в других древнегерманских языках" (Осипова, 1980: 5—6, 52—53).

Концептуализированная область слов активной семантики сохраняет на материале тотокого языка способность обозначать реликтовые отношения имен, имевших в праиндоевропейском отдельные парадигмы.

1.5. Репрезентация пространственных сущностей в индоевропейских языках (референция)

В истории английского языка наблюдается замена форм указательных местоимений. Из двух групп указательных местоимений древнеанглийского (ослабленной и усиленной), имевших парадигмы склонения в мужском, женском и среднем роде, в истории английского языка выбираются только две формы, совпадающие с номинативом, аккумулятивом среднего рода единственного числа. Эти две формы (совр. *angl. this & that*) замещаются из двух источников, двух противоположных групп указательных местоимений: усиленной и ослабленной.

Процесс происходит на доступном для анализа историческом материале. Замещаются формы указательных местоимений номинатива и аккумулятива среднего рода. Этот процесс использования именно этих форм свидетельствует, в какой-то мере, о сохранении маркированности именно форм номинатива и аккумулятива среднего рода в историческое время. Отсюда возникает важный вопрос: "Какие причины легли в основу выбора именно этих форм указательности, а также маркированности номинатива и аккумулятива среднего рода в исторических языках?". Сохранение влияния активного прошлого или же что-то еще?

Вначале рассмотрим таблицу склонений в древнеанглийском. В табл. 1 приводятся формы ослабленных указательных местоимений.

Т а б л и ц а 1

Падеж	Склонения в древнеанглийском			Множествен. число
	Муж. р.	Жен. р.	Средн. р.	
И.	<i>se</i>	<i>seo</i>	<i>faet</i>	<i>fa</i>
Р.	<i>faes</i>	<i>faete</i>	<i>faes</i>	<i>faeta</i>
Д.	<i>faem</i>	<i>faete</i>	<i>faem</i>	<i>faem</i>
В.	<i>fone</i>	<i>fa</i>	<i>faet</i>	<i>fa</i>

Ниже (табл. 2) — усиленные указательные местоимения.

Т а б л и ц а 2

Падеж	Единственное число			Множествен. число
	Муж. р.	Жен. р.	Средн. р.	
И.	<i>fes</i>	<i>fæos</i>	<i>fis</i>	<i>fæs</i>
Р.	<i>fisses</i>	<i>fisse</i>	<i>fisses</i>	<i>fissa</i>
Д.	<i>fissum</i>	<i>fisse</i>	<i>fissum</i>	<i>fissum</i>
В.	<i>fisne</i>	<i>fæs</i>	<i>fis</i>	<i>fæs</i>

Определим линию исторического обоснования выбора рассматриваемых форм *fis* — *faet* для дейктического указания на объект. Как известно, современное указательное местоимение *this* обозначает предмет в непосредственной близости от говорящего, тогда как *that* указывает на удаленный предмет и т.д. Сразу оговорим, что семантика предмета совпадает с показателем среднего рода единственного числа. В историческом смысле усиленное указание на предмет, т.е. выделение его из однородной группы предметов, по своей функции предшествует указанию близости предмета к говорящему. Ослабленное указание предмета свидетельствует о более слабой связи с говорящим, и в этом новая указательная функция вроде бы понятна.

В грамматическом ключе группы усиленных и ослабленных указаний различались в древнеанглийском. Более детальное осмысление процесса развития этих форм приводит нас к определению зон дейксиса: А) ближайшее указание и Б) дальнейшее указание. Каждая из этих зон в принципе могла быть обозначена любой из форм мужского, женского и среднего рода и во всех падежах. Однако в истории языка происходит специализация и обособление форм номинатива и аккумулятива среднего рода единственного числа.

Вернемся к реконструкции активного и пассивного падежей, предложенной Х. К. Уленбеком. Ключом к гипотезе Уленбека является предположение о более общем значении номинатива и аккумулятива среднего рода, которые в этой реконструкции представляли собой "пассив", падеж пациенса. Единный обособленный падеж.

В синтаксисе маркированными местами окажутся позиции неактивного и активного субъекта и неактивного объекта:

неактивный субъект + глагол + неактивный объект
активный субъект + глагол + неактивный объект

Согласно нашему еще более общему положению синтаксические позиции, соответствующие неактивному субъекту и неактивному объекту, оказываются маркированными позициями дейксиса, т.е. указания на сам предмет. Используя русский язык как метаязык описания, можно сказать:

Этот/ тот камень лежит.

Этот/ другой/ тот человек кладет этот/ тот камень.

Все остальные случаи референции согласно принципу минимализации являются развитием отмеченных предложений. По положению Уленбека позиция пациенса является маркированной по отношению к неактивному объекту, что и приводит в последствии к обособлению форм номинатива и аккумулятива среднего рода (здесь в ед. ч.).

Концептуализации, возникающие при соприкосновении языка и культуры, становятся актуальными для семантики уже в 19 веке. М. Бреала интересовалась, как от номинации одиночных событий в структуре предложения переходит к концептуальным синтаксисам. В настоящее время некоторые исследователи приходят к выводу о возможности реконструкции индоевропейской мифологии по структурно-семантическим схемам предположений, восстанавливаемым в индоевропейском ареале. Так, К. Уоткинс в статье "Как убить дракона по-индоевропейски" реконструирует структурную схему одного из центральных индоевропейских мифов о сражении героя со змеем.

ТЕРОЙ УБИТЬ (*g^hen) ЗМЕЙ (ORUЖИЕ)

Автор статьи анализирует истоки индоевропейской мифологии, опираясь одновременно на данные языка и категории индоевропейской культуры. Обращаясь к примерам в исторических языках, автор прослеживает рефлексы глагола *g^hen- в древнегреческом, языке Авесты, хеттском, древнегерманских языках (Watkins 1987). Между языковыми и культурными темами наблюдается двустороннее взаимодействие в выбранной исследователем концептуализированной области. "Обычное истолкование гипотезы Сепира-Уорфа исходит из того допущения, что когнитивная область языка непосредственно связана с культурой, влияя на поведение человека в сфере культуры" — пишет французский исследователь М. Матте — "...поступается две системы 'тем', связанные одна с другой в различной степени. Вместо прямой корреляции между ними устанавливается опосредствующий уровень. Это значит, что язык и культура окажутся связанными, по-видимому, лишь на более высоком уровне абстракции. Это значит также, что нельзя постулировать определенной роли языка по отношению к культуре" (Степанов 1977: 311). Искомый уровень — область семиотики, науки призванной совместить в исследовании знаковых систем данные языка и категории культуры.

Как пишет Х.-Г. Гадамер: "Принципиальное преодоление случайности исторических языков и неопределенности их понятий возможно лишь благодаря математической символике: комбинаторика подобной последовательности проведённой системы знаков позволила бы — такова была идея Лейбница — обрести новые истины, обладающие математической достоверностью, поскольку ордо (порядок), отображаемый такой системой знаков, имел бы соответствие во всех языках. Совершенно ясно, что притязание Лейбница на то, что *chacune des vérités universelles* (универсальная характеристика) будет и *actus inveniendi* (искусством открытия), основывается как раз на искусственности этой символики: оно делает возможным исчисление, то есть нахождение связей благодаря формальным закономерностям комбинаторики и независимо от того, открывает ли нам опыт/соответствующие связи в самих вещах. Так, проникая в царство возможного, мыслящий разум обретает свое высочайшее совершенство. Человеческий разум не знает более адекватного познания, чем пошла математика (познание чисел), и всякое исчисление следует этому образцу. Однако в принципе человеческое несовершенство не допускает адекватного познания в *ratio* и поэтому не может обойтись без опыта. Познание с помощью такого ряда символов не есть ясное и отчетливое познание, ибо символ не означает наглядной данности: это "слепое" познание, ибо символ не занимает место действительного познания, лишь показывая возможность его познания.

Идеал языка, к которому стремится Лейбниц, — это, таким образом, "язык" разума, *analysi rationis* (анализ понятий), который, исходя из "первых" понятий, вывел бы всю систему истинных понятий, отображая тем самым все сущее в полном соответствии с божественным разумом. Человеческий дух мог бы таким образом просчитать заново само сотворение мира, полагая как божественное исчисление, из всех возможностей бытия высчитывая лучшее наилучшее.

В действительности этот идеал показывает, что язык есть нечто иное, чем простая система знаков, служащая для обозначения предметного целого" (Гадамер 1988: 483—484).

"Причина заключается прежде всего в том, что (при всех различиях) имеется глубокая аналогия между семантическим строением имени (отдельного слова) и семантическим строением предложения. И поскольку знаковый подход к имени не вызывает сомнений, он должен быть применен и к предложению. Обрисовать эту аналогию — значит, в сущности, изложить, пусть в общих чертах, некоторую семантическую теорию....

Довольно распространён взгляд — нелингвистический, — что аналогия между семантическим строением имени и семантическим строением предложения могла бы заключаться только в "принципе именования", т.е. только в том случае, если согласиться, что предложение именует нечто подобное имени. Но большинство современных семантиков — и вполне справедливо — не признает за предложением способность именовать подобно тому, как именует имя, и тем более не признает за предложением способность именовать действительность "подлементно", в отличие от Витгенштейна, который писал: "Конфигурации простых знаков в пропозициональном знаке соответствует конфигурация объектов в положении вещей" (Витгенштейн 1958: 3.21). Предложение не является знаком, подобным имени. На этом основании сторонники указанного выше взгляда отказываются от аналогии между семантическими теориями имени и семантическими теориями предложения — высказывания и предлагают строить последние на некотором новом фундаменте, достаточно независимом от семантических теорий имени.

Однако из отрицания "принципа именования" применительно к предложению не вытекает необходимости отрицания других сходств между семантическим строением имени и семантическим строением предложения, а следовательно, аналогий и преемственности между соответствующими теориями....

Аналогично слову в предложении — высказывании также выделяются две семантические сферы: с одной стороны, экстенционал, денотат или референт, как обозначение факта действительности; с другой стороны, интенционал, сигнификат или смысл, как некая мысль об этом факте.

Еще стоики открыли, что у высказывания два предмета: во-первых, вещь или факт реального мира, по их терминологии "тело", и, во-вторых, некая специфическая мыслительная сущность — не сочетание абстрактных понятий и атрибутов, а нечто единое и значительно более богатое, слияние понятий, представлений и эмоций человека; стоики назвали эту сущность лектон. Лектон является особой формой знания, более общей, чем утверждение или отрицание. Сходную категорию джнанами "знание" устанавливали древнеиндийские логики. Первая сущность стоиков, очевидно, аналогична экстенционалу, а вторая — интенционалу" (Степанов 1981: 10—12).

С точки зрения развития указательности формальное развитие дейксиса в индоевропейских языках могло пойти по линии активного субъекта или неактивного объекта (субъекта).

“В грамматике всех индоевропейских языков, а следовательно, и в протоязыке индоевропейском, отмечаются три различные грамматические подсистемы указаний, или дейксиса (от греч. слова, означавшего “указание”) 1 “Я — дейксис”, 2 “Ты — дейксис”, 3 “Он или Оно — дейксис” (в нашей системе это — другая — тот прим. С. П.). Так, в сербохорватском языке имеются три различных слова “это”: ево мени, ето теби, ено њему “это мне, это тебе, это ему”, элементы —В-, —Г-, —Н- в их составе являются по происхождению тремя различными дейктическими частицами — 1-го, 2-го и 3-го лица” (Степанов 1997: 135). Однако такая система референции с четким противопоставлением координат является исторически первичной. В индоевропейском реконструируется система указаний как в латинском по трем лицам 1) *hic* (рядом с говорящим) “этот”, 2) *iste* (рядом с 2-м лицом) — ближе к “этот” и 3) *ille* (рядом с 3-м лицом) — “тот”. “Обломки этой латинской парадигмы сохраняются в современном испанском языке: 1) *aquí* “здесь” (у говорящего) 2) *ahí* “десде” (у собеседника) 3) *allí* “здесь, там” (у третьего лица)” (Степанов 1975: 139—140).

“В пространстве 1-го лица, говорящего, осмыслиются прежде всего субъективные состояния: *У меня голова болит*, *У меня жар*, *У меня неприятно*. *Ит*. Выражения со 2-м и с 3-м лицом *У тебя голова болит*, *У него голова болит* и т.п. возникают, вероятно, по аналогии с 1-м лицом. Они содержат умозаключения по сходству: при констатации внутреннего состояния только 1-е лицо является подлинной констатацией, высказывания относительно всех других лиц — лишь утверждения о внешнем сходстве с описываемым субъективным состоянием. Отношение высказываний от 1-го лица к высказываниям от 2-го и 3-го лица здесь вполне аналогично отношению между перформативными высказываниями типа *Я обещаю* и обычными утверждениями *Он обещает*; *Он обещает*, только 1-е лицо выражает акт обещания.”

С этим вопросом нужно связать гипотезу акад. С. П. Обнорского о происхождении и соотношении русских форм 3-го лица наст. времени с *-m* и без *-m*. В довольно сложном диалектном и временном распределении форм с *-m* и без *-m* особенно обращает на себя внимание, писал С. П. Обнорский, начиная со старейших русских памятников, употребление в формах

без -*m*- глаголов в безличных конструкциях типа достон, подоба^т, глагола бытия **к** или с отрицанием **нб**.¹ Итак, — заключая С. П. Обнорский, — если по своему значению отношение между формами 3-го л. наст. вр. с т и без т есть отношение глагольных образований с выражением в них связи глагола с предиката с определенными субъектом и без выражением такой связи (когда субъект неопределенен или когда вообще его нет в мысли), перед нами тот же параллелизм в категории глагольных образований, какой мы встречаем в соотношении членных “определенных” и кратких “неопределенных” прилагательных или соответственно — имен существительных в сопровожждении или без сопровождения членом. Отсюда естественное предположение... о том, что по морфологическому строению формы на т должны были содержать в своей флективной части какие-то элементы местоименного присоединения. Этими прилагательными элементами в древнерусском, как и в старославянском языке, и были *тъ* и *твъ*, в которых, понятно, следует усматривать не что иное как обобщение разнovidности отдельных форм члена, т.е. по происхождению указательного местоимения *тв*, *та*, *то*” (Обнорский 1953: 135).

Реализируем сказанное, в виде "реконструкции" рех действительных частей с тремя личами в праславянском и прибалтийском: 1-е лицо — элемент *-v-, 2-е — элемент -t-, 3-е — элемент -n-. Если это предположение верно, то со сферой 1-го лица следует связать русскую указательную частицу *вои*, возможно сложennую из *vo + *t-, а также латышский предикат существования в отрицательной форме *nav* из *nevid*. По своей сути предикат существования (ср. рус. *есть, нет*) соотносен с 3-м лицом, и перенесение в него показателя 1-го лица, возможно, связано с древнейшими процессами в области индоевропейских указательных частиц и местоимений. Предполагаясь, что в праиндоевропейском было два местоимения 1-го лица ед. ч. — *te и *ye, причем, первое имело значение активности, второе — неактивности, второе было в некоторых языках включено в состав неактивного местоимения 2-го лица ед. числа: скар. ген. тава, акс. twām и т. д. Форма на *ye (до в одних языках имеет значение 1-го лица мн. числа (ср. хет. wes, гол. weis и др.)), в других — 2-го лица мн. числа (ср. праслав. *vy, рус. вы, лат. vos и др.) (Савченко 1984: 483; Степанов 1988: 235).

ду that/those и there и к образованию соответствующих плеонастических разговорных и диалектных сочетаний. Например: This here Mr. Denham (Ga); That there dog's lousy (A. Marshall). [...]

Различие между this/these и that/those состоит не только в их разной пространственной отнесенности, но и в обозначении ими разных направлений движения, в разной временной отнесенности, а также в передаче ими разных стилистических и семантических оттенков.

Так, this и that могут употребляться для передачи разных направлений движения (независимо от расстояния между объектом и говорящим субъектом). Когда человек приближается к говорящему, его называют this man, а когда он удаляется — that man. [...]

This/these и that/those используются для обозначения различных направлений движения в пространстве, но и в тексте. This/these чаще используются уже высказанного. Ср.: This is what he told me "Это то, что он сказал мне" и That is what he told me "То, что он сказал мне". В американском варианте английского в последнем случае часто употребляется this.

Рассматриваемые местоимения также обозначают разные направления на временной оси. That/those часто употребляются с глаголами в прошедшем времени, а this/these — в будущем. Например: That was nice. This will be interesting.

В разговорном стиле, независимо от расстояния до объекта, this и these используются для передачи оттенков интереса или хорошего знакомства, а that и those — для выражения отрицательного отношения к объекту высказывания. Ср.: Then I saw, away in the distance, this lovely girl... Here is that awful Jones and those ugly children of his.

Особым случаем является употребление this для введения персонажа устного рассказа. Например: There was this Scotsman, you see. And he wanted... ("Выли один шотландец..."). [...]

При выборе между употреблением указательных местоимений this, that или личного it необходимо учитывать следующее:

1. При соотношении с предыдущим высказыванием it чаще относится к понятию, выраженному существительным или атрибутивным словосочетанием, а that — к факту, переданному предложением. Ср.: He gave me a book to read. It was very interesting и He gave me a book to read. That was very good of him. Есть три основных исключения. It может использоваться вместо that а) после глагола или прилагательного со значением восприятия, умственной деятельности, речи или эмоции; б) при употреблении it подобно вводному, но с вводного it, связанного по смыслу с предыдущим предложением или его частью, но фактически соотношенного с последующей подлежащей прилагательного change my mind, but I doubt it (ON); в) When Frances was thirteen it came to her one day that the Bilderbachs had no children. It seemed strange (C. McCullers); в) I don't mean to be bitter. It's not your fault (that I am bitter).

2. Указательные местоимения используются при первом упоминании факта или при первичной ссылке на него, а it — при его повторном упоминании. Например: "This sounds urgent, Alfred" — "It is" (ON).

3. При ситуативной отнесенности it и указательных местоимений они стилистически нейтральны. Стилистические различия зависят от выбора падежа конечного личного местоимения и от степени редуцированности связанного глагола. Ср. книжн. It is I; This is she и разг. It's me; This is her; That's her (Вейсман 1990: 19—21).

Во многом драматические функции этой группы указательных местоимений являются производными от такой черты знакового пространства как возможность различать двойственность мироздания. В этом, на наш взгляд, и форм указательных местоимений.

В какой-то степени двойственность присуща любой картине мира, но она не обязательно закреплена в языках. "Наиболее адекватным пониманием картины мира представляется определение ее как исходного глобального образа мира, лежащего в основе мировидения человека, репрезентирующего собственное свойство мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности человека. Картина мира предстает при такой трактовке как субъективный образ объективной реальности с входит, следовательно, в класс идеального, которое не переставая быть образом реальности, определяется в знаковых формах, не запечатлеваясь полностью ни в одной из них.

Как и всякое образование, относящееся к классу идеального, картина мира имеет двойственное существование — не объективированное (по сути, полубъективированное), как неопределенный элемент сознания и жизнедеятельности человека, и объективированное в виде определенных образов — различных "следов", случайных или намеренных, оставаемых человеком в процессе жизнедеятельности. "Отпечатки" картины мира, ее okamennost' можно обнаружить в языке, в жестах, в культовом и светском изобразительном искусстве и музыке, ритуалах, вещах, этике, мимике, модах, способах ведения хозяйства, технологиях вещей, построенных с учетом "логики" рода социкультурных стереотипах поведения людей и т.д.

Обозначим картину мира с полубъективированным статусом существования как картину мира, а картину мира с объективированным статусом существования как картину мира. Картина мира, есть элемент жизнедеятельности человека, в которой она возникает в актах мировидения, формируется, трансформируется в другие картины мира. Картина мира, соответственно, неэффективированный вариант картины мира, эксплицированный из живого статуса существования картины мира записывается в том, что она, принадлежа к миру идеального, "живет" везде, во всех пересеченных выше образованных, полностью не воплощаясь и не запечатлеваясь ни в одном из них. Обязательное в знаковых образованиях для идеального не является обязательной акцией. Человеческие знания о действительности "совершенно не обязательно должны определяться, закрепляться в виде понятийных характеристик, в виде семантически признаков знака" (Леонтьев 1975: 15 а также цит. по "Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира". М., 1988: 21—22).

1.6. Реконструкция мировоззренческой лексики

“До сих пор, по аналогии с реконструкцией лексических архетипов (формально-семантический анализ) — названий предметов материальной культуры, растений, животных и т.д. (денотативная лексика) — реконструкция мировоззренческой лексики (ее праформ) обычно также проводится по привычному стереотипу операций с классами экстенциональных объектов, предполагающим неизменность денотат — “вещь”. Считается, что в разных представлениях родственных традиций речь идет об одних и тех же денотатах (как бы “вещах”), которые соотносятся с одними и теми же концептами или развиваются от одного и того же архетипа.

Наиболее распространенный в настоящее время подход в реконструкции культурных феноменов на лингвистической основе (индоевропейских языков), например, мифов, также все еще основывается на концепции “монологитного моногенеза”: “мифологический материал разных социумов прослеживается влглубь к общему исходному состоянию, сопоставляемому на разных основаниях язык, общество и культуру. Такая индуктивная историческая и диалектическая реконструкция прототипов (или архетипов) всегда несет в себе дополнительные выгоды, поскольку самостоятельные элементы из разных языков и культур обретают индивидуальную значимость, после того как уже доказана индуктивная гипотеза. Такой подход, чтобы быть плодотворным, нуждается в широком и глубоком охвате материала в нескольких измремениях и достаточном подобии и различии, позволяющем делать как позитивные заключения, так и осуществлять контроль за отсеивающимися материалом. Во всем мире только индоевропейский языковой континент, фиксируемый на протяжении четырех тысячелетий в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, предоставляет адекватную лабораторию для проведения такой процедуры” (Fyfe 1987: 4). Благодаря такому подходу и в этой области легко устанавливаются названия предметов материальной культуры, флоры и фауны, металлов и т.д. Сравнение формально соответствующих друг другу слов исторических индоевропейских языков позволяет реконструировать распределенные по диалектам исходные лексические архетипы с определенной денотативной (“вещной”) семантикой, которые устанавливаются по конкретным значениям исторически засвидетельствованные формы слов в разных языках.

Однако, в отличие от надежности реконструкции индоевропейских архетипов — названий предметов материальной культуры (денотативная лексика) реконструкция мировоззренческих лексем (понятийная или сигнификативная лексика) зачастую сталкивается с весьма подвижным материалом, различающимся не только в ареальных, но и в близкородственных традициях. Так, разноеобразие представлений о мире у индоевропейцев, по мнению Э. Тайлора, не позволяет опираться на такую гипотезу, которая могла бы объяснить различные религиозные представления развивавшихся у древних, “если не допустить того, что религиозные представления развивались и видоизменялись в различной степени в том самом месте, где они господствуют”. В семантических реконструкциях, тяготеющих к единственности решения, как бы присутствует “санскриптизация” материала: объяснение прототипов культурных процессов дается исходя из надежно документированных “стереотипов”. При этом реконструкция

значений-сигнификаторов, как правило, проводится по привычному стереотипу операций с классами экстенциональных объектов, предполагающих единый материальный денотат. Считается, что, если в разных языках или на разных этапах одной традиции речь идет об одних и тех же объектах — денотатах, то и концепты этих объектов — одни и те же или развиваются от одного и того же прототипа или архетипа.

Однако, с нашей точки зрения, отсутствие этимонов у основных культурных концептов индоевропейского мира закономерно нацеливает саму реконструкцию на иной путь — на поиск доминирующих концептуальных трактовок исследуемых концептов, т.е. на анализ схождений, соответствий, типологических параллелей концептуализированных областей смысла (которые, подчеркнем еще раз, вовсе не отрицают наличие некоего архетипа, обуславливающего генетическое родство, — но архетипа “культурного”, “мифологического” и т.п.). (Сравним сходный с нашим тезис О. А. Смирницкой о маловероятности единственной концептуальной трактовки культурных тем и по-этических форм в разных хронологических слоях даже генетически родственных, но различных традиций (Смирницкая 1989а: 7—14).

Реконструкция же праформ представляется нам второй операцией, производимой от первоначальной реконструкции культурных концептов и основывающейся на соображениях типологической вероятности” (Степанов, Прохурин 1993а: 17).

1.7. Концептуализированные области. Синонимизация пространственных понятий

Ниже мы постараемся очертить контуры концептуального подхода к анализу явлений языка и культуры, уже наметченному в монографии Ю. С. Степанова, С. Г. Прохурина “Константы мировой культуры. Адфавиты и адфавитивные тексты в периоды двоеверия” М. 1993а.

Постулируется “наличие концептуализированных областей смысла, возникающих при слиянии языковых и культурных тем на более высоком уровне абстракции, чем собственно языковая и культурная модели мира. При этом под языковыми темами понимаются — логико-лингвистические константы языка: базовые семантемы (типа “мир”), грамматические категории, синтаксико-морфологические структуры (например, глагольное управление). Под культурными темами понимаются как концептуальные системы (например, концепт “мир”, концепт “вера” и т.п.), так и различные элементы систем мировоззренческого порядка (например, понятие “центр мира”, концепт “мировое древо” и т.п.).

“Каким же образом проводится экспликация концептуализированной области? Обратимся к примеру такого построения, наметченному в германистике еще в работе “Введение в сравнительно историческое изучение германских языков” В. М. Жирмунского: “Платонимический суффикс *ing*, *ung* (ср. Меро-винги, Каролинги, Амеунги и др.) указывает на родовую связь, единство происхождения членов родовой общины: он подтверждает свидетельство Пезаря, что германцы селились “родами и родственными группами” (De bello Gallico II, 22) (Жирмунский 1964: 36).

В результате такой корреляции между языковой темой (здесь — суффиксом) и культурной темой (здесь — идеей рода) у исследователя появляется возможность привлечь собственно языковые темы к объяснению культурных феноменов и vice versa. В результате такого подхода культурно-референтные “рамки” и позволяют соотносить языковые данные в пределах оптимальной концептуализированной области в текстах требуется более детальное исследование слоев или пластов в раматике. Для описания каждого пласта не нужны для другого слоя (ср. выше пример с англосаксонским и анти-лексисом).

Задачу это различие категоризаций, проводимое исследователем, вполне определенно подкрепляется наличием в самом слое каких-либо формальных средств, отсутствующих в другом слое. Так, архаический пласт английской культуры широко использует морфему *-(e)n* как в имени, так и в глаголе. Причем особенно важно, что это формальное средство как раз не принадлежит только морфологии имени или только морфологии глагола, а именно объединяет их в один слой грамматики, противопоставляя другим слоям. Такие примеры можно умножить. Так, Ф. Ф. Фортунатов показал, что в старом славянском языке флексия *1* лица единственного числа в ее архаической форме в глаголе *вѣдѣ* “я узнаю” является “обломком” парадигмы индоевропейского перфекта, т.е. *вѣдѣ* происходит из **u̯eden*, и что глагольный морфематический материал здесь та же самая, что и имени типа *сѣмѣ*, *имѣ* (сходство с антиглагольной морфемой *-en* здесь, конечно, несущественно) (Степанов 1981: 33-4).

Уместно обратиться к рассуждениям Н. Тармана о принципах концептуализации в таких условиях. “В строении мира нет свободного парения более высоких слоев. Они существуют накладываясь на более низкие, носимы ими. Способ накладывания (*das Aufsetzen*) различный... Притом категории более низкого слоя проникают в более высокие, и существенная их часть остается пов и законов) настраиваются друг над другом слоев. ... появление его категорий на более высоких слоях (категориальное почуш) составляет его несомненное равнообразие (Nachtall 1958: 333—337).

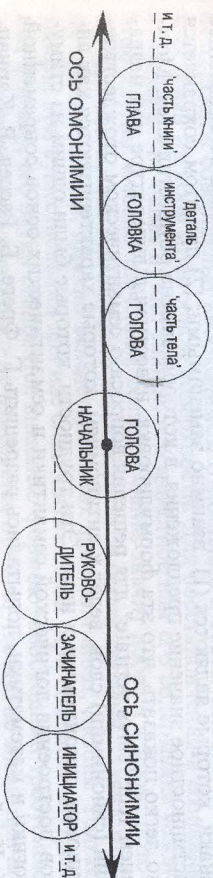
Далее, представляется уместным отграничить понятие культурного концепта от понятия концептуализированной области. Понятие культурного концепта значительно шире и объемлет всю совокупность понятий в обширном культурном слое. Несмотря на равное положение в иерархии понятий (ср. “числовой области” — “концептуализированная область”), понятие концептуализированной области связано с одним из частных проявлений концептуализации — свойственными таким как “вера” имеют другие уникальные интерпретации. Англосаксонская культура является примером объектного принципа референции, когда за основу действия берется указание на неактивный предмет и учитывается местоположение этого предмета в пространстве (объективный дейксис).

Прежде чем перейти к продолжению описания этого события на материале древнеанглийского языка необходимо очертить границы дейксиса, существовавшие в англосаксонской культуре.

По определению С. Карпеевского, язык в целом представляет собой систему центров семиологического излучения (*foyer de rayonnement*). Согласно С. Карпеевскому в языке наблюдаются колебания информационной модели: лингвистический знак принадлежит одновременно к синонимическому и к омонимическому ряду (ср. например, с одной стороны *столы*, *паруса*, а с другой — *столы*, *жены*) то значит, что “каждый лингвистический знак потенциально является омонимом и синонимом одновременно”. Таким образом омонимия (в понимании С. О. Карпеевского, т.е. самая возможность омонимизации) и синонимия (т.е. наличие в языке случаев полного совпадения по значению) у разных знаков образуют две “соотносительные координаты”. В двойственной семантической структуре лингвистического знака означаемое, т.е. звуковая форма (*phonique*) и означаемое, т.е. функция, по образному выражению С. О. Карпеевского, непрерывно скользит “по склону реальности” (*sur la pente de la réalité*). “Каждое из них выходит за границы (“*déborder*”) опережает его партнера: означаемое стремится иметь другие функции, чем его собственная, а означаемое ищет способов быть выраженным другими средствами, чем его знак. Они асимметричны, сдвинуты друг с другом (асиметричны) они находятся в состоянии неустойчивого равновесия” (Карпеевский 1956: 24).

homonymie: Смолчи он, etc.	Signe adéquat Молчи!	Молчать! etc. Synonymie
----------------------------	----------------------------	-------------------------

“Омонимия и синонимия являются двумя “осями” в системе языка. Каждое слово, не теряя своей индивидуальности, оставляя тем, что оно есть, или, выражаясь терминологически, сохраняя тождество самому себе, в то же время как бы скользит по этим двум противоположным осям, подчиняясь с одной стороны, тенденции к омонимии, с другой — тенденции к синонимии с другими словами. Если схематизировать слово в виде круга, разделение пополам, так что одна половина его символизирует фонетическое слово, а вторая — значение ситификат, то положение слова на двух осях в языке может быть представлено такой схемой (схема приводится по (Степанов 1975: 36).



Ср. формулировку этого основного тезиса Карпеевского в вводной главе его книги о системе русского глагола: “Транспозиция и синонимия — две

сторонны одного и того же явления"; "Каждое значение (signification) ... потенциально является и синонимом и "омонимом" одновременно" (Катевский S. Systeme du verbe russe. P. 31) (см. Поспелов 1990).

"Рациональной основой изучения синонимии, по Ш. Балли, может быть только идентификация, установление "родового слова" и "видовых слов"; слова-синонимы ("видовые слова") должны быть объединены в одном простом слове, имеющем наиболее общее, родовое значение; слово, которое выражает все то, что может быть передано любым другим членом синонимического ряда... Различие между "родовым" и "видовыми" словами лежит, согласно концепции Ш. Балли, в основе всякого изучения синонимии, сравнение слова — идентификатора, если они не сгруппированы вокруг "родового слова", той синонимического ряда, "Отношения между "родового слова", как показал Ш. Балли, сводятся к отношениям между общим и частным, родом и видом: $w > w1 \vee w2 \dots wn$, $w1 \vee w2 \dots wn > w$. Ш. Балли был одним из первых исследователей, обративших внимание на то обстоятельство, что синонимические ряды, при сравнении каждого члена ряда как с общим и с частными членами, так и (в первую очередь) со словом-идентификатором, которое выражает смысл, общий для входящих в синонимический ряд слов..." (Видоман 1980: 42—43).

В целом синонимия в историческом языкознании играет колоссальную упорядочивающую роль. Но и не только в нем, а и в логике. "Если же какая-либо из приведенных версий должна быть употреблена в качестве критерия прим. С. П.), то следует специфицировать класс X и более того, выбрать те свойства или же критерии различения, которые являются решающими для сущности класса A. Такое решение этой спецификации, собственно, можно найти уже у Лейбница, у которого, кстати, тождество, является скорее отношением между знаками, чем отношением между обозначаемыми сущностями, или же оба аспекта не совсем ясно различаются. Эта спецификация гласит: "eadem sunt quotum ipsum potest substitui aliter salva veritate" (тождественны те, которые взаимно заменимы при сохранении истинности).

Если эта спецификация может быть полностью применима, то следует предполагать, что элементами класса X являются слова или словесные знаки. В этом случае семантически тождественными можно считать те словесные знаки, которые являются (1) взаимно заменимыми; (2) при этом сохраняются не легко показать, что эта формулировка, известная в литературе под названием теста "salva veritate" для решения вопроса о семантическом тождестве терминов синонимичных слов, ведет к антиномии, которые характеризуются как антитеза и математики, пытались разрешить Г. Фреге, Б. Рассел, Р. Карнап, у. Куайн и ряд других пионеров логической семантики. В целом основные проблемы, которые здесь возникают, можно резюмировать в следующих вопросах:

(а) Какие выражения можно считать семантически тождественными синонимичными?

(б) В каком контексте или в каких условиях можно говорить о заменимости синонимических выражений?

(в) Что должно сохраняться при заменимости?

Согласно первоначальной версии Лейбница, ответы на эти возможные вопросы гласили бы: (а) слова, (б) в контексте предложения этого слова и истинностное значение предложения. Г. Фреге выдвиг трудность этого решения и заменил в ответе (в) денотацию (Bedeutung) слов смыслом (Sinn) слов. У. Куайн показал, что даже это решение не является удовлетворительным, и заменил "salva veritate" Лейбница критерием "salva analusitate", то есть требованием логической эквивалентности синонимичных слов" (Тондиль 1975: 423—424).

Для нашего исследования культурных феноменов ось синонимии играет ведущую роль. В центре внимания — слова и выражения, образованные от разных корней, которые приходят к выражению одинаковых смыслов. Функцию доминанты ряда выполняет какое-нибудь понятие, имеющее ценность в культуре. Такой подход дает возможность описать культуру как совокупность ценностных признаков, ориентированных на воспроизведение, хранение и передачу ненаследственной информации. С чем это связано? Возмещение и передачу ненаследственной информации такой образ мира, который, скорее всего, интерпретируется в терминах синонимии. Слова, которые выражают ценность в культуре, обычно синонимизируются (термин введен нами и нашел поддержку в лице Ю. С. Степанова, см. Степанов 1995).

Наличие лексического доминанта ряда представляется в семiotике культуры фактуальным признаком. Основанием для соположения группы слов становится сама культурная ценность. Одним из первых с позиций филологии к такому пониманию подходит А. А. Потебня в своем учении о внутренней форме. "Положим, кто-нибудь знает, что липов. балас значит добрый (может быть, ласковый, милый); ему даны в этом слове очень определенные звуки и не менее определенное содержание, но эстетическое понимание этого слова ему не дано, потому что он не видит, почему именно эти сочетания звуков, а не сотни других, должны означать доброту и проч. И почему, наоборот, такое содержание должно требовать таких именно звуков. Если затеряна для сознания связь между звуком и значением, то звук перестает быть внешнего формирования в эстетическом значении этого слова; кто чувствует красоту статуи, для того ее содержание (например, мысль о верховном божестве, о громовержце) находится в совершенно необходимом отношении к совокупности замечательных в ней изгибов мраморной поверхности. Для восстановления в сознании красоты слова балас нужно знание, что известное нам его содержание условий другим, именно значением безлипы: балас значит добрый и проч., потому, что оно значит *белый*, точно так, как русское *белый*, значит, между прочим, *милый*, именно вследствие своих значений *albus*, *leucids*. Только теперь, при существовании для нас символизма слова (при сознании внутреннего содержания), его звуки становятся внешнее формою, необходимо требующим соединения звуков балас, *белый*, со значением *albus*: мы спрашивали прежде об этом, а об отношении значения *милый* к звуку, ограниченные требования удовлетворяются знанием ограниченности, а не безусловных причин" (Потебня 1989: 162). Колесания на оси синонимии играют устанавливающую

соответствующего слова в другом языке. Индоевропейский принцип номинации считается приемлемым, когда возможность для вывода имени (см. Топорова, 1985, 1986). Особую роль играет древнетуркские предоставления, представляющая в виде наиболее вероятной реконструкции лексем Правая рука воспринимает, Иванов 1984).

[illegible]

т. дашина, лит. desina, ст.-слав. despi, др.-греч. δέσπις). В индоевропейских языках существует слово, сохраняемое всеми языками этой семьи (Шайкевич 1960: 63).

экономизируемая инфлексия: др.-инт. dēsi- / дэси-, лит. dešinti, др.-греч. δέσινω.

пока зрения, выказанным корнем *tek^[bl] — “брат”. Заслуживает внимания рольская форма названного Т. А. Михайловой, которая подает, что индоевропейский состав исторических языков в систему бинарных противопоставлений (Михайлова 1990: 52). Рефлексы индоевропейской праформы противоположной В подобны случаев destter — “боевой конь”: лат. dexter, итал. destro, исп. (ср. итал. destro — “ловкий”, “провоorny”, ирил. deas — “ловкий”, реже — “правый” (там же)). Сравнение *tek^[bl]-s как “милый”, “удобный”

Многие дескриптивные средства выражения понятия "правый" в древнеиндоевропейских языках выявляет необычайно для индоевропейской языковой семьи диспропорцию. Расхождение древнеиндоевропейских форм "правый" с полной противоположностью выявляет необычайно для индоевропейской семьи диспропорцию. Расхождение древнеиндоевропейских форм "правый" с полной противоположностью выявляет необычайно для индоевропейской семьи диспропорцию. Расхождение древнеиндоевропейских форм "правый" с полной противоположностью выявляет необычайно для индоевропейской семьи диспропорцию.

В эпизоде наказания трех христианских мальчиков Навуходоносором за веру в христианского бога говорится, бог зашил и уверовавших в него и не позволил огню поглотить их: Nussas waeton blithode, bypon scealcas umþ oft utan: alet gehweart teonþillum on teso, thaet to geseah Babilone brego (Дан. А., 252—256) "Юноши были радостные, горели слуги вокруг печи сна-

приказал языческий король его голову и правую руку отрубить и установить как трофей". Как меняется с принятием христианства осмысление правой руки, можно судить по описанию последующих событий. Отрубленная рука над Пенной, брат Освальда переносит его останки в христианскую церковь, где они выступают уже в новом качестве "святых мощей" (halgung vat).

Учение об Иисусе Христе соединено в христианстве как "догматы" с преданиями. В

...сошествиех: кости барана могла быть предметом, к которому принадлежала бы часть, а следовательно, и практика в древнейшей космологической вышивке племени в унисерум, его судьба. "В английском языке" — пишет Э. Б. Тайлор — "существует даже специальное выражение, которое буквально означает: "читать по лопаточной кости". В анданади Камден описывает таинство, когда смотрят сквозь лопаточную кость барана, чтобы отыскать темное пятно, которое предсказывает смерть, а Дрейтон в своем "Политарионе" таким образом воспекает это искусство: "Будущее они узнают при помощи плеча барана, отделенного от правой стороны".

Которое они обыкновенно вярят, обнажая при этом кость лопатки. Когда когдун берет ее и смотрит на нее, Он провидит вещи, которые

так же как и вещи давно прошедшие" (Тайлор 1989: 99). С распространением письменности...

рука начинает ассоциироваться с новыми предметами труда, например, с тонкой из древнеанглийских заглавок, в которой, по мнению К. Вильямсона, *þe swiþle ne com þu mes seaxes ond and seo swiþþe ond eorles ingforn and ond somod þingum gefurðan* (R., 61) "Эго удивительный отрезок, в сердце сухой для тех, кто не умеет так (писать). Как мне острее кинжала и правую руку, мысль человека и лезвие вещью означить (соединить)" (Williamson 1977).

искусных сустананий: человека, животного, растения. Как показано обследование ранних оригинальных англосаксонских памятников, эвфемизм *swiðra* ни разу не употребляется для выражения пространственных отношений по принципу "правая рука" (правое). Вместо него встречается вышеупо-

манутое *on teso*, а также много перифрастических оборотов. Так, локативное отношение в латинском *dextior pat* "правая (ложная) часть" передавалось в англосаксонских переводных текстах локативной конструкцией объективного дейктика *on tha suthheale*, ср. *in dextera rate ab Babilonia* (Mat. 34, 17) — *thea suthheale fram Babilonia* — "В ложной части от Вавилона" (Bosworth, Toller 1954, 1955). Ассоциация юга и правой стороны (при развороте наблюдателя к востоку) проследивается в описании географического расположения дала (правый, ложный) пространственных объектов, иногда передавая буквально связь значений

Первые вышеупомянутые тексты относятся к раннехристианским теологическим сочинениям, в которых оппозиция правого и левого христианских значима. В древнеанглийской переводной литературе о так называемой "Тростке Новозаветной", Христос описывается как располагающийся справа от Отца: *aet þu on heah sette heafena rice stiet sigelraemig on þa swithga hand thinn godfaeder* (P. N., 39—42) — "Ты на троне небесного царства сидишь триумфально по правую руку (сторону) Отца твоего". Разумеется, отпадшие триумфально же приобретают в данном контексте метафорический оттенок, уже некоей нравственно-этической категории. Неслучайно по-

В еще более поздних сочинениях, где используются правая сторона не локативные конструкции, символическая интерпретация правой стороны прослеживается, однако сами словосочетания обозначают местоположение "справа" от субъекта: *gefelli to fæte eadigan fæstman swufan heale (Mlatg. 80) — "Упали на правую сторону от благогоудной женщины"*. В *Wulfstan's* за кодаб-

В морской ориентации, когда действующий центр зафиксирован на swithgan heafle (Gen. 13, 9) и дорук-дурок не имеет значения, главным, месторасположение справа описывается относительно правого борта судна, имевшего у англичанов первоначально конструктивную особенность. Номинация правого борта как steorþord букв. "управляющий борт" (от др.-англ. steorþord букв. "управляющий борт") (от др.-англ. steorþord букв. "управляющий борт") по эту сторону рулевого и весла управлен- ние") связывалась с расположением по эту сторону рулевого и весла управлен- ния кораблем (Noors 1918—1919: 284). Локальная конструкция вставки steorþord "по правый борт", "справа" встречается в оригинальном описании Альфреда о путешествиях Оттара и Вульфстана в географическое описание севера Европы испанского монаха Орозия: Ne let him ealne weg þæt he wære land (Oros. I, 1) "Он оставил за собой на всем пути пустошь с правого борта"; þa waes him on þæt steorþord wiðæne (Oros. 19, 24—26) "Ему по правый борт

В конце древнеанглийского периода наметается осознание различия между "правильным", "справедливым" (др.-англ. riht, riht "истинный", "правильный", "справедливый") и "верным" (др.-англ. soðra, soðre "верно").

39

ства, носивший в архаических традициях ритуальный характер. Так как соотношение рассматривалось в архаических традициях как воровство у земли, то ассоциация левой руки с негативными явлениями, похищением, здесь закономерна.

Как правильно, ритуальные символические действия левой рукой совершались в переломную, "межевую" пору суток, но чаще всего на утренней и вечерней заре. Так, в заговоре против кровотоечения, совершаемом в промежуточное, рубежное время — между заходом солнца и восходом луны — провозгласит: *With blodder ðægar ðæme eallum tannum su seowolune nihta eald mæra aefter sunnan sel gange aet monan crugne sume to ðam treowe ðe mæn hæteð mæbeam and of ðam linn aereð mid ðære wunstpan handa, mid twam ðingum, ð is mid ðingum ðære hwitne aereð ðe fenne gut ne geaðge aþere nune fenne crp and crp æt* (Leech. 11, 330—331) — "Против кровотоечения на семнадцатый день новой луны для всех людей после захода солнца пойдти к дереву, которое люди называют саксаул, до того, как луна взойдет вверх и возьми плод с него левой рукой: двумя пальцами — указательным и большим — белый плод, который еще не покраснел, подними его вверх и встань сам". Обращение к левой руке происходит в сакральное, пограничное время — в момент наивысшей неопределенности, когда решается судьба будущего. Согласно рекомендации заговора, человеческие движения должны предвосхищать грядущее событие — восход луны. Срывание плода с дерева левой рукой в критическое время рассматривается как магический акт, участие в котором левой рукой наиболее благоприятно. Становится понятным, что семантическая мотивировка данного эвфемизма ориентировалась на сакральное время и само слово предназначалось для использования в особых условиях — ритуале.

Ассоциация левого с неблагоприятным исходом гадания, с лжевидельством, кражей прослеживается в большинстве индоевропейских традиций. В англосаксонском заговоре против грабителей также рекомендуется обратиться к левой стороне, воздействием на которую, определится положительный исход события (!): *ðære ðe mæn hwæet forðstele awitð ðis swigende and do on ðære winstan seo under ðinnem ho fenne geaht ðu hit soþa* (Ch. 396) — "Когда кто-то украдет что-то, напиши это в тишине и положи это в твой левый башмак под каблук, тогда ты вскоре услышишь об этом". Своеобразие данного представления иллюстрирует относительно упрощенность определения смысла таких высказываний методом бинарных оппозиций (см. выше), согласно которому значение "левое" однозначно относится к разделу "негативное".

Филологический метод (с учетом анализа языковых предпосылок) позволяет вскрыть "амбивалентную" природу "левого" как благоприятного, но в определенных, преимущественно ритуальных условиях, в особых рамках, определенных временем, местом и лицами, причастными к негативным явлениям.

Слово *winstan* часто используется в переводных с латинского лечебных рецептах, рекомендующих воздействие на эту сторону для исцеления от недуга: *seal thou swigende ðis wistan don ðas wort swigende on ða winstan breost* (Leech 11, 16, 140) "Следует в тишине это слово написать и в тишине положить на левую сторону груди"; *gif hæst of ðe meht ne ðære læst him blod on ðam winstan eanthe of ðære cræstan aedre* (Leech. 11, 254—255) — "Если жар и нет сил его выносить, выпустить кровь из верхней вены левой руки".

Во многих лингвокультурных традициях понятие левого связывается с моментом начала, зарождения нового. Так, обычное движение слева направо, или наоборот, по солнцу, интерпретируется как благоприятное, когда обратное вращение ведет к неудачному исходу, ср. мотив обновления, отражающийся в русском изречении: "Он заглянул в левое ухо, выгнул в правое — стал молодец молодцом". Аналогично в древнеанглийском заговоре рекомендуется избавиться от опухоли: *Mæn secal singan aetwæt on ðæt wunstpe eate ðærepe on ðæt switpe eate* (Ch. 326) — "Пропеть следует сначала в левое ухо, потом в правое".

Если судить по ранним оригинальным англосаксонским памятникам: эпосам, хроникам, трагатам, где нет упоминаний об ориентации в пространстве по принципу "левая рука — левая сторона", то можно предположить, что определенную роль в запрете на использование данного обозначения могла сыграть лимитированность обращения к эвфемизму, употребление которого в оригинальных памятниках почти всегда связывается с определенными временными и ситуативными контекстами. Вместе с тем в текстах хроник имеются оброты, выражающие указанные пространственные отношения перифрастически: *on healf... on oþra* — "с одной стороны... с другой", *oþre... oþra* — "с другой... с другой" и др.

В связи с этим особое внимания заслуживает контекст из древнеанглийской записки 22 (Wlket 1897), где речь идет о восташке земли плугом: *me byf gongende gæpe on healle and min swaetel swealt on oþre* (R. 22) "Мне идущему зеленое по одну сторону и мой след черный по другую". В переводе В. Г. Тихомирова перифрастическое обозначение борозды заменяется наречиями "слева" и "справа", ср. Когда я иду, бороздою справа земь чернее, а слева "слева" (Древнеанглийская поэзия 1982: 49). Основанием для различия левой и правой стороны, по-видимому, в перифрастических оборотах является последовательность "слева" — "направо", т.е. *on healle* — "налево", *on oþre* — "направо", совпадающее с движением солнца по горизонту. Напомним, левая и правая сторон согласно цвету гребне "зеленый", "свеат" — "черный", по-видимому, не имеет в англосаксонской традиции такой символической, по-видимому, не имеет в англосаксонской традиции такой символической, как в родственной кельтской. Так, галльский крестьянин называл левую сторону от борозды плуга *hap* — "белая", а правую *dreag* — "красная" (Grimm 1853: 691). Известно, что в древнеирландской традиции довольно четко прослеживается связь между "кастовой" ономатикой и цветом — символом соответствующей касты: жрецы — белый, клатри (военная аристократия) — красный (Калыгин, Королев 1989: 43).

К специфике употребления *winstan* в англосаксонских памятниках народной культуры (заговорах, предсказаниях) относится отсутствие в одном контексте семантических противопоставлений по типу левый — правый; негативный — позитивный. Речь всегда идет об отдельном участии левой стороны в ритуале, символических действиях.

В более поздних произведениях христианской ориентации значение *winstan* получает эксплицитную негативную интерпретацию. В переводе Альфреда "Обязанностей паствы" папы Григория отмечается подлинность левых рук правой в новой системе ценностей: *Eft be ðæm swaetle wæstmæseor: "Gehæle me ðim sio switpe. We swaetm ne non ðim sio winstpe hond"* (Past., 388) "Снова о том же говорит псаломщик: "Плеть правая рука спасет меня. Мы не говорим "левая рука".

Переводные христианские тексты являются единственным документально подтвержденным на древнеанглийском материале источником однозначных противопоставлений левого, "неблагоприятного", неправедного, дурного правому, ассоциируемому с положительными понятиями. Так, в переводных религиозных памятниках лексема *wīnēsta* входит в оппозицию левого (менее почетного — правому (почетному), ср.: *He hæfde þa his swīðtan hand ofer Erihtiges heafod þaes gīngan broht and his wunstan ofer Mannaes heafod, the uðta waes* (Gen 48, 14) "Он положил правую руку на голову Ефрема, младшего брата, и левую — на голову Манасии, старшего брата" (тем самым Израиль отдает предпочтение Ефрему).

В принципе, данные оппозиции прослеживаются уже в самых древних индоевропейских традициях, начиная с древнехеттской (Тамкришде, Иванов 1984: 784—785). Однако в каждой культуре имеются уникальные ситуации, противоположные тем, которые обнаруживаются в большинстве других (Толстой 1987: 169—183). Так как левая сторона в англосаксонских заговорах и обрядовых действиях не получает негативной интерпретации, то ее название изначально не могло служить основой для противопоставления по типу левый—правый: негативный—позитивный. В данном случае речь скорее всего должна идти о более сложном осмыслении этой стороны в сакральном акте. Вероятно, что англосаксонская культура в своих истоках принадлежит к числу тех индоевропейских традиций, где указанные противопоставления не релевантны, так как само противопоставление снимается ввиду "амбивалентности" интерпретации членов оппозиции. Вхождение *wīnēsta* в семантическое противопоставление указанного типа, таким образом, можно отнести к инновациям, вызванным христианизацией англосаксов.

Наблюдаемая лимитированность указанных противопоставлений христианизировавшимися основывается на понимании левой стороны в Библии как места проклятых во время Страшного суда; левая — это направление ада, тогда как права — рай (Chevalier, Schestvat 1982: 369—371). Христос при казни на кресте: *gewitan on þa wīnstan hand sigota soðhring* (Cst. 1224—1230) — "направиться по левую руку Воскресшего". Далее упоминается: *Ongineð fōrne to þam uðtan ƿealde wordum mæcðan, þe him bið on þa wunstan hond* (Cst. 1363—1365) "Начинает говорить другие слова злым, которые от него находятся по левую руку".

В поэме "Соломон и Сатурн" для обозначения левой стороны встречается эпитет *wun* с прозрачной внутренней формой "худшая". *Oðhæt he gewendeth on þa wunstan hand* (Sal. 328, 498) "До тех пор, как он повернется в худшую (левую) сторону".

Как известно, значение базовых пространственных терминов "левый" и "правый" не может быть описано в виде стандартной словарной статьи, в которой оно было бы разложено на элементы, поскольку эти слова в более элементарных терминах невозможно (Джонсон—Лард 1988: 254). Принципиальную роль в различении сторон играет выбор так называемого лектического центра, так как в полной мере эти значения раскрываются только в конкретной ситуации. Важно упомянуть, что именная форма *wīnēsta* в древнеанглийских памятниках обозначала только части телесных субстанций: человека, животного, растения. Соответственно прилагательное *wīnēsta* использовалось исключительно в дисприбуции с наименованиями частей тела. Так, в одном из рецептов лечебника приводятся рекомендации по

избавлению от *þaere wīnstan sidan sate* (Leech. 11, 64—65) — "левостороннего недомогания". Встречается слово также для обозначения частей тела животных: *wunstan boh* — "левый бок", частей организма растений: *with for adle... gewinn... of thaere wunstan... handa* (Leech. 11, 246) — "От помытых левых сторон растений".

В древнеанглийском для описания местоположения "слева" используются лективные конструкции *on þa wīnēsta* "по левую руку", *on þa wīnēstan hand* (heale) — "на левую сторону" (см. Дьякова 1977). При этом в качестве точки отсчета, как правило, бралась телесная субстанция. Например, в переводах Библийских текстов, где противопоставление "левый—правый" является ориентационно значимой оппозицией, эксплицитно выраженной в языке, то *swiðtan* (Gen. 48, 13—14). "Он (Иосиф) усадил Манасию по левую руку, который был Израйиго по правую". В данной ситуации принципиальную роль для различения сторон играет определение лектического центра. Дело, что в контексте речь идет о двух точках отсчета, относительно которых верифицируется месторасположение с той или другой стороны. Манасия располагается слева от служашего в качестве точки отсчета субъекта — в данном случае своего отца Иосифа. В то же время его положение определяется относительно другого ориентира — отца Иосифа Израйи.

Относительная свобода в выборе лектического центра в англосаксонской культуре ограничивается невозможностью использования в качестве точки отсчета нетелесных субстанций (по крайней мере в текстах). Данное явление получает семиотическое обоснование. В большинстве других культурное произвольность выбора соответствующего ориентира приводит к возникновению двусмысленных ситуаций. А. Я. Шапкин иллюстрирует противопоставление двусмысленных ситуаций. Д. Я. Шапкин приводит пример из современной русской традиции, когда возникает противоречие в определении лектического центра. Так, предложение "Т-реби к правому берегу" может быть понято двояко, если лодка движется вверх по течению (Шапкин 1960: 55). Двусмысленность в интерпретации данной знаковой ситуации возникает ввиду того, что такие понятия, как "левый" и "правый" могут соотноситься как с "относительной", так и с "абсолютной" точкой отсчета. Наличие таких двусмысленных оборотов в англосаксонской лингвокультурной традиции избегается за счет специализации в выражении этих понятий.

В этой связи допустимо говорить о своеобразном явлении, которое, во всяком случае, отражено в памятниках, — антропоморфном дейксисе, то есть ситуации, когда обозначение местоположения зависит от природы объекта, выступающего в качестве лектического центра. Если им является существо, надежное телесное организационное устройство, то используются термины, то чинные словосочетания с лексемой *wīnēsta*. Если же нет, то употребляются другие лексические единицы. Это, естественно, обусловило множественность форм выражения локального дейксиса.

Необходимо заметить, что такой прием используется также в современных культурах преимущественно в ситуациях, в которых необходимо избежать двусмысленности в интерпретации. Обычно для повышения точности ориентации семантемы обозначаются названиями левой и правой сторон конкретного лектического центра, ср. во французской театральной терминологии

гши название левой и правой кулине определяется конструктивной особенностью одного из тегов и вписанностью стены в городской ландшафт: левая *söðe jafn* (букв. "сторона, где сад") и правая *söðe sou* ("сторона, где двор").

Аналогично в древнеанглийском существовало несколько эквивалентов слову *winestra* для выражения местоположения по левую сторону. Так, помимо выперивленных перифрастических конструкций, базовая семантика *"левый"* по-разному выражалась в зависимости от типа передвижения: по суше или морю. Любопытен факт подобной двойственности и в объективном дейкнсе. Исследование исландских родовых саг показало, что одна система была связана с описанием плаваний в открытом море и основана на достижении по суше (в исследовании Е. Хаугена внутри Исландии) (Хауген 1957: 447—459). В первой системе направления, реальные и обозначаемые терминами *norðr*, *sýðr*, *vestr*, *aust* (север, юг, запад, восток), совпадают. Во второй центром ориентации является административный центр каждой из четвертей (Исландия делилась уже в средневековье на административные части — четверти), и "направления движения определяются относительно него, а не сторон света, т.е. при движении из Западной четверти в Северную направление обозначалось как северное, хотя реальным было северо-восточное" (Мельникова 1986: 33). Видимо, сходные принципы и в древнеанглийских эпических сочинениях. Во всяком случае, некоторые контексты, рассматривавшиеся как ошибочно воспроизведенные переписчиком (Schücking 1915), находят вполне адекватное объяснение, исходя из выперивленных условий. Например, следующий отрывок из "Беовульфа" указывает на необходимость обопутной ориентации оно могло означаться как южное: *Sifran þotgelæht, юга сияет*.

Направивается интересная параллель со скандинавскими географическими трактатами, где, например, центром ориентации "является южная часть Скандинавского полуострова и все земли, как бы они реально не располагались по отношению к Скандинавии, считаются лежащими к востоку, если путь к ним идет через Восточную Прибалтику и Рувь (например, Византия, Палестина), или находящимся на севере, если путь пролегает через северную часть Скандинавского полуострова" (Мельникова 1986: 33).

Выбор лексических средств для выражения местоположения "с левой стороны" связан с двумя типами локального дейкнса: субъективным и опосредованным. В сухопутной ориентации, как правило, используются указания, соотносящиеся с субъектом: *Gif þu faerst to fæte winestræn healle* (Gen. 13,9) — "Если ты пойдешь налево". В морской ориентации дейктический центр закрепляется за кораблем и никак иначе. При таком указании оценка местоположения зависела не от говорящего, а от объекта, что делало такие выражения наиболее подходящими при ориентации в море.

Номинативная левая борта связывалась с конструктивной особенностью англосаксонских кораблей, которые, как и все германские средства передвижения по морю до XIII века, имели характерную деталь: расположение рулевого с веслом управления, обращенного спиной (др.-англ. *baec*) к левому борту (Ноорс 1918—1919: 284—285). Соответственно наименование левой стороны судна получало "антропоморфную" координату, находившую воплоще-

ние в "опосредствованном" дейктическом имени *baesbord* — букв. "задний борт" или "борт за спиной" (др.-исл. *bakborði* — "задний борт"). В среднеанглийском данное существительное было вытеснено термином *laðebord* (*latbord*) — букв. "борт для разгрузки" (Whittaker 1969: 60).

Используя для выражения пространственных отношений, устойчивая локативная конструкция *on fæte baesbord* — "на левый борт" относится уже к опосредствованному дейкнсу, так как точкой отсчета является ориентир, не совпадающий с субъектом. В древнеанглийских памятниках данное словосочетание встречается преимущественно в первом географическом трактате "Орозий", но, как полагают большинство исследователей англосаксонских манускриптов, те места, в которых они приводятся, принадлежат к оригинальным вставкам, приписываемым королю Альфреду. Как пишет К. Метьюн, перевод "Орозий" отличается большой смелостью в интерпретации текста. Альфред чувствовал себя свободным не только части текста, но и вставлял дополнительные описания. Таким образом, географическая глава в "Орозий" оказалась ему недостаточно полной (вполне справедливо), когда речь шла о Германии и Скандинавии. И он сделал знаменитую вставку о путешествиях Охтхере (см. выше Оттар) и Вульфстана (Malone 1948: 98).

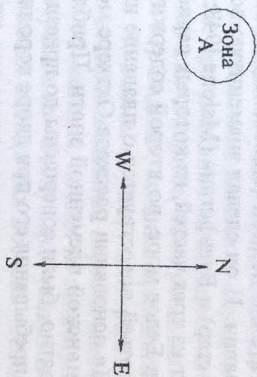
Рассказ Охтхере состоит из трех частей, из которых первая посвящена его плаванию из Халоголанда в Белое море, во второй содержится ряд бытовых деталей о его жизни, а в третьей повествуется о плавание из Халоголанда в Хелен (Южную Данию). На основании рассказа Охтхере можно заключить, что он принадлежал к норманской племенной знати. Приблизительная дата путешествия, которое, вероятно, были совершены до президи Охтхере в Англию, 870—899 гг. Во время пребывания его при дворе короля Альфреда и был записан его рассказ.

В отчете о путешествии Охтхере, приводимом от третьего лица, локативная конструкция *on fæte baesbord* встречается весьма часто при обозначении курса корабля во времени и пространстве (видимо, служила расчетной единицей): *Let him ealne weg... fæ widað on fæte baesbord fæte dagas* (Ost. 17,9—13) — "У него на всем пути по левому борту оставалось широкое море в течение трех дней". Несмотря на то, что ориентация в пространстве в конечном итоге направлена на субъект, дейктический центр закрепляется за кораблем: *him waes widað on thæt baesbord* (Ost. 17, 26—27) "У него было широкое море с левого борта"; *him waes thæ twegen dagas on thæt baesbord fæte dagas* (Ost. 19, 29—31) — "Ему с левого борта в течение двенадцати дней был остров, принадлежащий Дании".

Филологический анализ извлечений из описания путешествия Вульфстана (происхождение и социальное положение которого точно неизвестно) позволяет установить любопытный факт: описание местоположения корабля в пространстве определяется от третьего лица, а затем от первого. *Wulfstan saede... on baesbord him waes Langaland, Laeland, Falstet, Soene* (Ost. 19, 32—35) — "Вульфстан сказал... на левый борт ему были Лангаланд, Леланд, Фальстет, Сконет"; *foðne after Wugenda lande waeton us fæte land...* *on baesbord fæte land hutha to Sweon* (Ost. 20, 1—3) — "После Вугендской земли была земля... на левый борт земли, принадлежавшая Свонам". Как полагает большинство исследователей средневековой картографии, использование оборота от первого лица является важным доводом версии англосаксонского проис-

хождение Вульфстана, который, возможно, передал Альфреду отчет о своей поездке из Хэдсеби в Трусо, который и был вставлен Альфредом в повествование.

Преобладание в англосаксонской географической литературе терминов объективного действия свидетельствует в пользу особой значимости в древнегерманской культуре ориентации по сторонам света. Под рубрикой абсолютных ориентиров выступают такие "локальные" разграничения, как *poth* — "север", *suf* — "юг", *east* — "восток", *west* — "запад". В англосаксонских памятниках прослеживается двойность абсолютных ориентиров. Так, один и тот же абсолютный ориентир обозначался с точки зрения того, как на него смотрит наблюдатель, так и в обратном смысле с позиции наблюдаемого объекта *ср. poth* "север" — *poþan* (с севера), аналогично *east-eastan*, *west-westan*, *suf-sufan*. В дейктическом аспекте такое членение ориентационной лексики связывается с зонами наблюдения ориентира. Наблюдатель определяется находящимся в зоне А с абсолютными ориентирами.

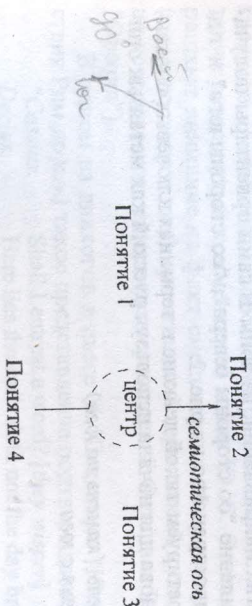


В то же самое время наблюдатель испытывает воздействие со стороны наблюдаемых ориентиров. В таком случае позиция наблюдателя описывается по отношению к наблюдаемому ориентир. Яркий пример такой ситуации описан выше, в изложении события из эпоса "Беовульф", когда солнце сияет с юга *супан*.

В исследовании Хаутена древнегерманской ориентационной лексики отмечаются значимость учета сторон света при описании местоположения объекта в непосредственном окружении говорящего. Так, говорилось, например, *др.-исл. kúti þotþan kírkuna* — "к северу от церкви" и т.д. (Науген 1957: 447—459). В древнеанглийском регистрируется много частных наименований типа *poth-dun* — "северная дверь", *poth lane* "северная дорожка", *poth-heaf* — "северная сторона" и т.д. Любопытно, что предмет локального мира описывается в абсолютной шкале. Кстати, германские слова со значением "север, северный", *др.-англ. poth*, *др.-исл. norðr* и т.д. восходят к тому же корню, что и умброкское *pettu* — "слева" (Nolthausen 1934). Связь "левый" — "север" является своего рода семантической фреквенталией, которая обусловлена экстралингвистическими условиями: сакральные и жизненно важные явления в древних традициях связывались с восходом солнца на востоке, когда северная сторона описывалась как расположенная слева. Так, при ориентации у кельтов наблюдатель занимал место лицом к восходящему солнцу, при этом левая рука ассоциировалась с севером. Север — это низ, где солнце достигает места заката и начинается другое восхождение. Оригинальность кельтс-

кой традиции заключалась в "приспособлении или смещении ориентации левого и севера", *ср. др.-ирл. cled, гал. cled, брет. kleiz* — "левый", "север". Впоследствии эти слова были заменены эвфемизмами, один из которых *ciath* обозначал "север" (Chevalier, Sheehy 1982: 370—371).

По языческим представлениям в Древней Руси север — это священная сторона, и только она обозначена вне какой-либо связи с восходом солнца. "В христианскую эпоху динамические события вос-ток и за-пад стали осознаваться статически как определенное место (*ср. рай на востоке*) так же, как и север и юг" (*ср. Пс. 77—7; 88—13; 106—3, 4*). Более абстрактные и точные представления слов полудень и полночь появляются вместе с расхождением суток и времени. По движению солнца стали определять и время членения суток и времени. По пространственному значению полдень и полночь здесь не употребляются; это проявление средневекового принципа полудня. В противоположении "восток—запад" / "север—юг" роль устойчивого и определенного члена играл "восток—запад", поэтому лексически варьировался член "север—юг". С XVII в. "север" и "юг" становятся устойчивыми элементами, а "восток" и "запад" варьируются: восток, восход, запад, заход, закат. Часы отсчитываются не от восхода до заката, а от полночи до полудня. Часы света — это не части земли и не положения солнца, определяющие ориентир, а "четыре главные точки горизонта". Мотивация суток и движения солнца, отраженная в словах полудень и полночь теперь своего движения. Материально старая система представлена теперь в новом качестве. Север вновь приобретает стрелка компаса, где Венера" (Демидов 1986: 70). Эти группы слов обобщаются с ориентационной лексикой. Существует этимологическая и далее типологическая связь между за-пад и за-дъ, север и шон, вос-ток и пере-дъ (*ср. те же семантически близкие корни, усиливающие, цие друг друга, в одном слове: выс-пръ, пре-выс-ить, вос-пре-пятствовать, пре-взо-йти*), наконец полудень, полночь и полъ. В словах, принадлежащих к этой микросистеме, часто наблюдается семантический сдвиг, ориентационный поворот на 90 градусов: юг "восток" > "юг", право "прямо" > "право", полъ "низ" > "противоположный бок, сторона". Сказанное, представляется интерес с семантической точки зрения. Можно представить эту ситуацию с точки зрения семантики. Тогда семантическая ось пространства по-зволяет проназывать ротацию понятий вокруг избранного условно дейктического центра на угол 90 градусов; такое смещение понятий относительно семантической оси обусловлено смежностью понятий в пространстве и времени. В данном случае речь должна идти о движении метонимии.



"Понятия, заключенные в словах ориентирах первых памятников письменности, соответствовали средневековому принципу подобия, когда понятия микромира метонимически расширялись до понятий макромира. Поэтому этимологически "телесные" ориентиры гора, доль, десно, шное, лине не обладали пространственным вектором, но характеризовались признаком сопоставленности (т.е. ситуацией, когда объект включен в пространство наблюдателя прим. С. П.). Это первое объединение имен-ориентиров на основе вещественного значения заимствовало из векторной дейктической группы на-дъ, по-дъ, за-дъ, пере-дъ элемент задъ. Дальнейшее замещение произошло, видимо, в следующем порядке: передъ > лине, верхъ > гора, низъ > доль, льво > шное, право > десно. Новый пространственный вектор полностью вытеснил древний признак сопоставленности, который стал нерелевантным для этой подгруппы (там же: 71).

В англосаксонской лингвокультурной традиции, наоборот, изначально наблюдается специализация в выраженных базовой семантемы "левый". Именные формы *poðr* — "север", *poðferð* — "северный" и т.д. используются для выражения пространственных реляций и в большинстве случаев компенсуют языковое табу на использование понятия *winesta* "левый".

По-видимому, ближе к концу древнеанглийского периода намечается семантический переход "слабый", "большой" (др.-англ. *lef, luf*) > "левый". Прилагательное *lef* — "левый" вытесняет лексему *winesta* и служит для выражения пространственных отношений — местоположения "слева": *an ure louted Ihesu Cristes luf hond* (Thm. Coll. Nom. 37 цит. по OED) — "по левую руку любимого Иисуса Христа".

Любопытно, что пространственная бинарность становится присуща текстам лишь с христианизацией англосаксов. До этого первые понятия "левый", "правый" представлены раздельно. Вместе с тем, слова, приходящие к выражению базовой семантемы "левый" также синонимизируются друг с другом в пункте выражения пространственных связей. Мы видим как бы одни те же эволюционные линии традиции, которые подчеркивают развитие смыслов, при этом культурная ценность понятия выступает стимулом для синонимизации слов, которые приходят по одним и тем же законам к выражению пространственных значений.

Наблюдатель выискивался в пространство по линии абсолютных ориентиров, озадачивших север, юг, восток, запад. В то же время пространство воспринималось и в обратном направлении со стороны севера, востока, запада, юга. Эта двойственность объективного дейктиса имеет необычную природу. Наблюдатель как бы ограничивал себя в зоне абсолютных ориентиров севера, востока, запада и юга — зоне А. В то же время при воздействии на наблюдателя со стороны этих направлений, из зоны В сами ориентиры получают специфическое оформление "со стороны севера", "со стороны юга" и т.д. Обозначим отмеченное пространство на рис. 2.

А теперь проинтерпретируем такой дейктис в терминах ключевых синтаксических конструкций, снова для начала используя русский как метаязык описания.

Я вижу южный камень (камень на юге)

Солнце светит на меня с юга

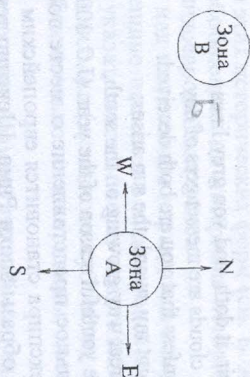


Рис. 2.

Метаязык описания затемняет двойственность объективного дейктиса, присущего древнеанглийскому. Поэтому представим контекст.

В описании своего путешествия, переданного королю Альфреду, датский путешественник Оттар пишет:

He saede ðeah faet land su swude lang poðr fanoþ: ac hit is eall weste, faet he, aet sumþum eute, woðe fandiþan hu lange faet land poðriþleaege; oððe hwaefet aelig man be poððan faet westene bude.

"Он, однако, сказал, что земля еще очень далеко к северу отсюда простиралась; но что она (там) совсем пустыня, разве что на отдаленных местах он захотел исследовать, как далеко на север заходит эта земля; и не живет ли какой-нибудь человек со стороны севера к этой пустыни."

Как видно из контекста, пространство ознанено относительно абсолютно-ного ориентира, однако имеется еще одно пространство "как бы со стороны севера", которое отбрасывает пустыню, имеющую свой абсолютный ориентир — север, т.е. *poðr* "север" — "пофран" со стороны севера.

Аналогично, в отношении других ориентиров *westan, suþan, eastan*. Приведем еще раз (в более широком контексте) знаменитый пример из эпоса "Беовульф", где описывается необычная ситуация сияния солнца со стороны юга утром (обычно восход рассматривается как восток).

Gaef eft se-ferðe mot to medo toðig, siþran motgen-leoht ofer uða beaþ oftes dogotes, sime sweðl-weted siþran seiþer "пойдет обратно, кто сможет, медловому напиток смелый, когда восходящее солнце на детей шлодей, солнце, сиянием одетое, с юга засияет" цит. (Ильиш 1968: 130).

Отметим, что в Британии, как впрочем и в Скандинавии, юг определялся относительно южной оконечности острова (полуострова) а не восходу, т.е. смещался по отношению к географическому югу на определенное количество градусов. В этой связи любопытны разьяснения О. З. Степанова (Roiter, 1934), а также развернутый комментарий к ним Ю. С. Степанова. Исследователи объясняют внимание на факт смещения на 45 градусов реальных ориентиров (т.е. к востоку и югу) ориентации в германской культуре, эксплицированных на историческом материале перемещений Оттара и Вульфстана (из перевода "Орозия").

В одном из диалогов в пьесе У. Шекспира "Юлий Цезарь" (место действия Рим до н.э.) такое представление подтверждается:

"Cassius.

Shall I eulpeat a word? [they wisper]

Decius.

Here lies the east: doth not the day break here?

Casca. No.
Cima.
Casca.

O, pardon, sir, it doth, and you grey lines
That fret the clouds are messengers of day.
You shall confess that you are both deceived.
Here, as I point my sword, the sun arises;
Which is a great way growing on the south,
Weighing the youthful season of the year. (I.C. 100—108)

Таким образом, локальное представление о месте восхода солнца на о. Британия в пьесе У. Шекспира становится европейским представлением. Создавая свои героические образы эпохи Рима, Шекспир тем не менее вставляет в уста персонажей реликвии, характерные для островных представлений англасаксов.

О том, что абсолютные ориентиры играли особую роль в англосаксонской культуре свидетельствует название англосаксонских королевств Суссекс, Уэссекс, Нортумбрия и др. Однако юг острова рассматривался англосаксами как лежащий на одной из оконечностей острова, не совпадающего с географическим югом [возможно под углом 45 градусов] (приблизительно там, где располагалось южное саксонское королевство Суссекс). В этой связи небезынтересно следующее наблюдение, связанное с маркированностью юга в родственной скандинавской культуре:

"Очень важно отметить, что в древнескандинавском обиходе направление, противоположное landnótt "земной север", будет обозначено не как вдоль моря; на юг, как идет море" (так же и в предыдущем примере, точнее: "на север, к северу, как идет земля", все эти термины не статичны, а динамичны; они указывают не точки, а направления движения при плавании вдоль берега)" (Степанов 1997: 114).

Так, в англосаксонской культуре определилась изначальная двойственность пространства, но в объективном действии, которая явилась одной из ступеней дальнейшего членения на пространство ближе и дальше от поставщиков, как *ridet* "туда" и *Ranon* "оттуда", *hider* — "сюда", леопал "отсюда" (сюда же можно отнести скандинавское заимствование *to and fro*) по отношению к пространству здесь. В то же самое время ослабленные указывая объекты как организующие ситуативный фон — (тот, о котором идет речь наряду с другими объектами).

Как только требуется вывести предмет на первый план высказывания, используется усиленное указание *fes: in þysse abduðissan þynstie* "в монастыре этой илумыни". Здесь усиленное указание подчеркивает уникальность для ослабленных указания различались отношением объекта к фону повествования, т.е. выполняли функции артиклей.

Однако уже к XIV веку грамматическая функция такого типа начинает исчезать. Функции указания как бы закрепляются в новой позиции, доведенной до предела. Усиленное указание совмещается с указанием на ближний предмет, а фоновое указание ассоциируется с удаленным предметом. Заменяя, что падеж пациенс в индоевропейском как раз и выделялся по принципу испытания воздействия на предмет со стороны активного субъекта. Поэтому

му выбор именно этих исторических форм (см. Б. А. Ильиш-Ильиш 1968: 221) представляется обобщением на материале исторического языка уже известных отношений индоевропейского слю.

Наблюдение над изменением парадигм в историческое время позволяет совместить концепцию пациенс в индоевропейском (реконструкция Уленбека) с развитием указательности через неактивный объект, испытывающий воздействие внешних сил (активного субъекта). В основе процесса выбора форм лежат приблизительно те же причины, которые обусловили развитие пациенс.

Итак, мы совместили грамматический модуль периода Уленбека с историческим модулем английского языка и вскрыли аналогию причин предпочтения номинатива и аккузатива единственного числа среднего рода.

Подушается, что в основе предпочтения заложена причина неактивного объекта, символом которого в древнеанглийском был именно обобщенный образ неодушевленного объекта среднего рода (*fæt* *land* "та страна", *fæt sear* "тот корабль" и т.д.). Относительно высокая частотность таких указательных конструкций в стандартных формулах древнеанглийского и среднеанглийского, увеличенная совпадением указательных конструкций номинатива и аккузатива, имеет своим результатом противоположное усиление *fæt*, когда акцентирован именно данный объект из ряда, ослабленному *fis*, когда объект представляется как часть ситуативной композиции.

Указательные местоимения современного английского языка являются смешанными по исторической функции, а в их значениях отражены древнейшие функции усиленных и ослабленных указательных местоимений.

В индоевропейском предложении уже в общих чертах намечены основные линии развития грамматических концептов исторических индоевропейских языков (Степанов, Прохурин 1993б).

Рассматривая предшествующую грамматическую ситуацию, т.е. по аналогии наблюдения за снятым изображением, мы в состоянии предвидеть пути изменения, возможные в историческом развитии языковых форм.

В определенной степени на обозначение пространства накладываются отношения между этим светом и тем миром (запробным). Такие отношения относятся к сердцевине индоевропейского концепта "мир" (об этом ниже).

В существующих реконструкциях индоевропейского концепта 'мир' доминируют концепции, описывающие мир с точки зрения обустройства пространства, в отличие от концепта мир в древнееврейском языке и культуре, где мир *olam* понимается как течение времени.

Пространственная метафора является ведущей чертой индоевропейского космоса, познание и описание мира происходит в терминах этой категории. Отсюда вытекает условная статичность и монументальность концептов индоевропейского мира, их ориентация на парадигму “вещей”, расположенных в “Вместилище”, мере для вещей (мире). Однако такое утверждение требует дополнительных уточнений.

При описании корпуса культуры исследователь сталкивается с проблемой экспликации а) чистых концептов, таких как 'любовь', 'честь', 'добро', 'зло' и т. д. б) понятий, связанных с обозначением предметов материальной культуры: орудия ремесла, оружие и т. д. и т. п., а также группы понятий, которые не могут быть отнесены ни к "чистым" концептам, ни к материальным предметам. Это так называемые в) смешанные денотативно-синтикативные лексемы, чье значение в культуре определяется не только совокупностью интенционалов, но и материальными носителями.

Так, понятие 'судьбы', с одной стороны, связано с представлением об отмеренности человеческой жизни, с другой стороны, представлено в культурах и.е. народов в виде материальных носителей — гадательных палочек, веретена, весов и т.д. Для исследования таких культурных концептов предложена специальная методика констатируализированных областей, в которых данные понятия рассматриваются и раскрываются через их взаимосвязь с предметами материальной культуры, которые не в последнюю очередь оказывают влияние на сами представления.

В семиотике культуры используется традиционный аппарат понятий знака и знаковых отношений. Формализация проводится по линии связи с логикой. "Вязкие отношения с логикой для лингвиста начинаются с того, что в распоряжении исследователя имеется некий исходный язык. "Пусть L-язык, на котором выражены элементарные высказывания", — пишет Х.Карри. — Теперь возможны два различных направления формализации. Первое заключается в том, что мы используем L как O-язык (язык-объект) некоторой синтаксической системы; этот метод мы назовем *метасинтаксиком*, а получившую при этом систему — *метасистемой* относительно первоначальной дисциплины (или L). Второе направление состоит в том, что мы продолжаем использовать

... Принимая мецасмиотический метод, нужно изобрести некоторые новые А-язык, скажем М, для ссылки на язык L... В противоположность этому, если применяется метод абстракции, то продолжают использовать знакомый язык — во всяком случае, способами, напоминающими нам его первоначальный смысл. (Карри 1969: 102, Степанов, 1981: 27).

Условимся семиотической теорией называть вполне произвольное множество предложений T эмпирического языка L , если и только если это множество предложенный замкнуто. Таким образом, T является метасемиотической теорией, если каждое предложение, которое следует из T , также принадлежит теории, если каждое предложение, которое предлагается: каждое предложение, следующее из утверждений теории, само является утверждением теории. Семiotическая теория T связана с некоторым классом K , который так или иначе выделяется в виде системы, описываемых теорией T . В языке класс систем, относительно которых допускается, что они описываются какой либо семиотической теорией, не является строго определенным. Элементы класса K будем называть предметными областями семиотической теории T .

дем называть предметными областями теории Т. Возвратимся на время к языку L. Теперь очевидно, почему проблема “открытой” объема индигиридных переменных этого языка была оставлена”. “Открытой”. Три построения в L теории T нам удобнее интерпретировать L как язык, относящийся, в зависимости от потребности, к той или иной системе, являющейся предметной областью теории T. Если язык L интерпретирован как язык теории T (эта оговорка существует, поскольку в одном и том же языке могут быть построены различные теории), то понятие предметной области языка L мы будем отождествлять с понятием предметной области теории T” (Вуйцицкий, 1974: 130).

Понятие предметной области связано с констатацией факта в теории. Обращаясь к примеру Р. Нидэма (Needham 1983), составшему из пяти предложе-

1. Это — роза.
2. У розы пять лепестков.
3. Роза красна.
4. Роза приятно пахнет.
5. Роза красива.”

3. Голубицкий.

Предложение (1) является констатацией эмпирического факта и обладает всеми свойствами предложения эмпирического базиса, а именно является простым безоценочным описанием и совершенно бесспорно. Предложение (5) есть чистая оценка. Оно субъективно и поэтому спорно. Оба предложения разуют как бы два полюса, которым соответствуют два полюса суждений. Между ними располагается предложения предложения (2), (3) и (4). Можно сказать, что (2) тяготеет к (1), а (4) к (5). Однако провести четкую демаркационную линию, разграничивающую эти пять предложений на предложения оценки, невозможно. Например, предложение (2) включает оценку того, что является лестком, а что скажем, песиком, недоразвившемся лестком и

проч. Далее, смысл этого предложения зависит от контекста. Оно может быть понято как относящееся к данной конкретной розе или к данному виду роз. То, в каком смысле мы поймем это предложение, может зависеть на его истинность, ибо конкретная роза вида, который должен иметь 5 лепестков, может иметь их 4 или 10.

Но сама интересная черта данного примера заключается в том, что эти предложения можно рассматривать и в обратном порядке. Надо только представить себе культуру, в которой предложение (5) выступает как объективное суждение об объективном факте. В ней роза выступает как образец красивого предмета. Поэтому в таком обществе суждение “роза красна” будет восприниматься как очевидная и бесспорная констатация. Для них оно будет столь же очевидно, как для нас утверждение, что снег бел. В силу своей достоверности и очевидности предложение (5) будет восприниматься в данной культуре как объективное описание факта.

А вот предложение (1) вовсе не обязательно таковым. Оно может выступать результатом интерпретации геральдического знака, символа или рисунка. Если посетитель музея рассматривает рисунок на гербе или старинном оружии и высказывает предложение (1), то оно является его интерпретацией увиденного, предполагает, может быть, обращение к сложной исторической информации и потому вполне может быть ошибочным. Зачастую интерпретация старинного рисунка как розы требует понимания символического смысла рисунка. Поэтому предложение (1) будет выступать как оценка" (Соккулер 1988: 31—33).

58